

Александра Петрова

# АППЕНДИКС



Художественная серия

Александра Петрова

**Аппендикс**

«НЛО»

2012

## **Петрова А. Г.**

Аппендикс / А. Г. Петрова — «НЛО», 2012 — (Художественная серия)

ISBN 978-5-4448-0467-4

Город, который знает и любит каждый, даже если никогда в нем не был, связывает между собой восемь основных персонажей. Большинство из них никогда бы не узнали друг друга, если бы не девятый и, пожалуй, главный герой – Рим. На фоне его истории возникает Рим нуара, бездомных, нелегальной иммиграции, кризиса европейской цивилизации, поиска веры и до сих пор не разгаданных политических тайн, ведущих в 60–80 годы прошлого века. Вечный город вмещает судьбы людей, издалека привезших в него память о своем детстве – камертоне, по которому настраивается многоголосье этой прозы. И поскольку она написана поэтом, ее корни – в звуке и языке. Александра Петрова родилась в Ленинграде, автор поэтических сборников «Линия отрыва» (1994), «Вид на жительство» (2000, шорт-лист Премии Андрея Белого), «Только деревья» (2008, шорт-лист Премии Андрея Белого), философской оперетты «Пастухи Долли» (2003). Ее стихи переведены на английский, немецкий, словацкий, словенский, португальский языки. На итальянском и сербском вышли отдельной книгой. Живет в Риме.

ISBN 978-5-4448-0467-4

© Петрова А. Г., 2012

© НЛО, 2012

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Новая легкость Меркурия           | 6  |
| По краям                          | 9  |
| Чужое                             | 17 |
| Римские монстры                   | 20 |
| Море                              | 26 |
| Гротески                          | 28 |
| Солнце будет всегда               | 33 |
| Ольга                             | 36 |
| Тоска                             | 40 |
| Подвалы                           | 43 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 48 |

# **Александра Петрова**

## **Аппендикс**

© А. Петрова, 2016

© Stefano Esposito, фото на обложке, 2012

© ООО «Новое литературное обозрение», 2016

## Новая легкость Меркурия

Да, не надо было вчера объедаться. Но ведь объедались все! Гости, мать, сестра, бабушка и тетя.

«Мама, – с усилием, наконец, выговорилось сухим ртом, – пожалуйста, вот там». Взглядом я попыталась указать направление: «Обещай похоронить меня вот под той березкой». Деревья склонялись надо мной и шумели, тень рябью охлаждала кожу.

В глазах сфокусировалось пятно приближающейся сестры. Она подошла к окну с раскидаем<sup>1</sup>, распахнула окно и посмотрела вниз в наш тусклый двор-колодец. Села на подоконник полубоком и стала подтягивать раскидай на резинке. Ее белые гольфы перекликались со стволами берез.

«Никаких берез тут нет», – сказала она.

Я попыталась приподняться, и меня снова стало конвульсивно рвать. Склизкие осьминоги и кривые пиратские ножи, которые мне зашили этой ночью в живот, старались вылезти через горло. Та девочка, у которой нашлись бы силы ответить на подобную полемичность сестры, почти изошла.

Вчера я проснулась еще в сумерках, и в полуоткрытые веки залетела утренняя тень тюльпанов в огромной вазе. Неужели все-таки этот день наступил? Осторожно я опустила руку вниз, нащупывая подарки. Подтянув один сверток, я попыталась угадать, что же в нем, и снова заснула.

А в девять утра, врываясь в недавно помытые окна, отражаясь от широких досок натертого к празднику паркета, солнце заглядывало вместе со мной в раскрываемые пакеты и коробки, разбросанные по кровати. Уже в десять мы готовили салат за салатом, мать отбивала колотушкой мясо, засовывала его в мясорубку по кусочкам, и из нее через дырочки выползали бледно-красные червяки.

Несколько убитых поместилось вчера в мое брюхо. Часть свиньи и коровы, курица и селедка, гусь, увеличенную печень которого растерли во вкусный паштет. Они утопали там в пюре и взбитых сливках, в киселе, в разжиженном бисквите, в желудочном и также яблочном соке из трехлитровой банки с жестяной крышкой, толстая резинка которой пахла кислятиной.

Когда гости ушли, оставалась еще гора салата оливье, чуть свекольного и несколько кусков торта. Опустошив салатницы, я прикончила и торт и продолжала убирать со стола.

Конец праздника всегда отвратителен. Как прекрасно было утро, а еще лучше – предыдущая лунная ночь, в которой все время мерещилось шуршание подарочной бумаги.

Такое впечатление, что жизнь была придумана кем-то очень ограниченным: начало-конец, есть-какать, пить-писать, играть-спать, мать-отец. Или, например, дома обязательно росли вверх и стояли кубиками. Если мне удавалось заметить хоть какие-то отклонения, они как избранные тайные любимцы входили в мое сознание, и я понимала, что возможностей на самом деле намного больше, но для того, чтобы вдруг остановиться, когда катишься с горы, нужно слишком большое усилие, в котором чаще всего нет практического смысла.

Сняли льняную скатерть со свекольными и винными пятнами, женскими силами сложили дубовый старинный стол. Комната увеличилась и опустела. Тоска начала подходить тухловатой отрыжкой.

Сестра включила радио. Как всегда, дождалась гимна Советского Союза и пошла спать. Гимн придавал ей какую-то уверенность.

---

<sup>1</sup> Раскидай, или раскидайчик – обмотанный нитками, набитый опилками мячик из цветной бумаги и фольги на длинной резинке.

У меня же не было уверенности ни в гимне, ни в плюшевом осле, которого мне подарил отец перед тем, как я пошла в школу, и с которым спала в обнимку, может, потому, что это был последний подарок отца, ни даже в том, что в один прекрасный момент наш дом, да и весь мир с ним в придачу, не разрушится. Я специально сходила вниз к соседке, чтоб посмотреть, куда я упаду, когда провалится пол, и передвинула свою кровать так, чтоб, если что, оказаться прямо в ее. Я никогда не могла запомнить того, что говорили по радио, или понять смысл взрослого разговора. Дочитав книгу, я никогда бы не могла сказать, о чем она. Некая суть вещей, логика банальности ускользали от меня, словно мой организм не принимал ее, выталкивал, как он делал это сейчас с зеленым горошком, огурцами и кусочками ветчины, которые изрыгались из меня и почему-то никак не могли снова сложиться в свинью, курицу или стать прекрасным салатом в стеклянной миске, украшенным кустиками укропа. Почему-то мне надо было терпеть эти вонючие мухи. Именно мне, а сестра в белых гольфах могла играть раскидаем, сидя на прохладном подоконнике.

Я совсем не боялась смерти, а сейчас мне казалось, что она была бы даже освежающей, как вода.

Когда по нашей бесконечной лестнице я наконец сползла во всегда сумрачный двор и меня положили на раскладушку скорой помощи, перед тем как захлопнули машину, я впервые заметила, что дверь нашего дома покрашена серой краской и что кое-где она облупилась и там виден другой, более светлый слой.

И все же во дворе, который, как мне казалось, я оставляю навсегда, разрозненно стояли, что бы там ни говорили некоторые, белые стволы деревьев со взнесенной сетью ветвей, в которую уже попались первые весенние листочки. И даже если кому-то их не было видно, это не означало, что их там быть не могло, пусть в асфальте пока для них и не нашлось ни клочка земли.

А по больничной лестнице я поднималась горизонтально. Я была тяжелой, да и все-таки вчера мне исполнилось двенадцать лет.

Живот больше не болел. На мне была рубашка, подаренная вчера тетей Лялей, которую мать называла *комбинашкой*. Малахитового цвета, прозрачная, с кружевами, – такой не было ни у сестры, ни даже у матери. Мать, чуть презрительно и как всегда отстраненно по отношению к отцовской родне, заметила, что «*комбинашка* мне не по годам», но я решила остаться в ней и на ночь, потому что она наделяла меня особой магической силой. В больнице никто ее с меня не снял, но, увы, врачи-убийцы стащили с меня трусы, и вот сейчас розовощекий молодой доктор бережно нес меня напоказ с голой писькой, на которой уже появился чуть заметный темный пушок. Волок меня аж на четвертый этаж, лифт у них не работал, а поскольку внутри меня могло что-то лопнуть, мне нельзя, оказывается, было ходить.

В стекло-металлическом зале отражений меня положили на ледяной катафалк прямо в этой комбинации. Только теперь стало выясняться, что мне запрещено было даже двигаться. Врачи суетились и сразу же, не дав промолвить ни слова, натянули на меня маску-намордник. Задохнувшись на втором вдохе, я слышала, как голоса улетали куда-то все дальше, вверх, вверх, пока не слились в один общий гул и пустоту.

Уже через мгновение я открыла глаза в большой палате, живот рвало и жгло, боль-боль-больно, – я закричала.

Пришли врачи и под видом ощупывания всадили мне укол. Когда я проснулась снова, мать, опять сидящая надо мной, сказала, что я спала очень долго, что меня оперировали четыре часа и мыли кишку за кишкой, что у меня был огромный аппендикс, – восемнадцать сантиметров, вообще-то в моем возрасте таких не бывает, – и что его положили в банку со спиртом, хоть он и разорвался, и что он будет теперь в музейной больнице. Я так и лежала в *комбинашке*, которая была теперь залита чем-то коричневым по всему животу и из-за этой гадости потеряла, конечно, добрую часть своей магии.

Еще больше мне было жаль аппендикса. Мне повторяли: «Не глотай косточки, очищай семечки от кожуры, прежде чем запустишь их в рот, а не то воспалится аппендикс». Я же втайне поглощала не только обыкновенные вишневые косточки, но и страницы любимых книг (и не зря говорили, что я буквально их *проглатывала*), красивые бусины, кусочки земли – в общем, все неопасное, но прекрасное. Идея того, что это где-то сохраняется, в каком-то неведомом мешочке внутри меня, мне нравилась.

У оленя Мюнхаузена однажды из вишневой косточки прямо на голове выросло дерево. Вполне возможно, и во мне находились ростки деревьев, которые когда-нибудь могли прорасти сквозь и благоухать надо мной во время ежедневных занятий. Особенно страшные или любимые места из сказок оказывались внутри, чтоб когда-нибудь самым неожиданным образом выйти наружу. Мерцающие отшлифованные стекляшки бусин освещали собой тьму моего нутра.

Когда-то наши предки питались только травой и корешками, и кишечник поэтому был гораздо длиннее. Вещественное воспоминание об этом и заключалось в аппендиксе. Хотя люди с удовольствием пили кровь и жевали мясо почти таких же существ, как они сами, и этот длинный шланг для травы никому был уже не нужен, почему-то, словно в напоминание о неорганичности пожирания плоти, он продолжал настойчиво появляться у каждой человеческой особи. Его называли атавизмом. Стыд запросто может превратиться в атавизм. Как-то раз на школьной экскурсии нас возили в концлагерь. Люди обитали поблизости, стряпали, стояли в очереди за батоном примерно так же, как и тогда, когда здесь неподвижно стоял едкий дым от еврейского и цыганского паленого мяса. Может быть, кого-то и подташнивало, но эта тошнота уже не требовала ответа о своей причине.

Они отрезали кусок меня, пусть даже тот, который в ходе эволюции был больше не нужен. Вернее, считалось, что он не нужен, но я уже давно знала, что, если встать с другой стороны написанного на ситце лозунга, можно прочесть нечто невообразимое. Люди чаще всего глядели на мир, не замечая его многосферности. Едва выйдя из детского возраста, мы начинали все более походить один на другого. Почти всегда можно было предсказать слова во фразах взрослых, начиная с третьего, а иногда даже второго. В этом тощем мире необходимо было задуматься об изготовлении трамплина, бункера, дирижабля, гнезда или просто научиться быстро бегать. Быстрее, чем мотороллер и свет. В сумочке моего аппендикса как раз и были сложены материалы для изготовления летательных аппаратов, там было мое приданое. Силой заключенных в ней вещице мне передавалось знание, что вовсе не всегда обязательно, чтобы в двенадцать ночи звучал гимн, что где-то не нужно вежливо проситься выйти из-за стола или ограничивать лето лишь тремя, да и то относительно, месяцами. Да и никаких месяцев в том мире не было, то есть даже иногда один какой-нибудь мог и быть, но как имацясем, или как мессссяц, или как змея. Но вот теперь мое святая святых, мой трамплин, мой фонарик выставили в банке на всеобщее обозрение. Моя сила отныне тайно пребывала в анонимном музее и мне не принадлежала. Аппендикс был мой, бусины и страницы из сказок братьев Гримм внутри него были моими, но я теперь не имела на них права. Прошлая жизнь была бесповоротно отрезана.

В новой, с одной стороны, начались фантомные боли от ампутации того, на что прежде можно было положиться (уверенность азартного игрока при мысли о счете в швейцарском банке или хомяка, засовывающего зерно за щеку). С другой, – я ощутила и новую легкость. Потеря багажа помогает наращиванию крыльев за спиной или на сандалиях, как у Меркурия.

В общем, отныне надо было отказаться от прямого накопительства, которое могло быть всегда трагически прервано, и строиться заново, полагаясь только на себя.

## По краям

*О божества, говорю, что живут в тех домах,  
боги, которых я должен  
оставить, храмы, что мои глаза никогда не  
увидят,  
размещенные в граде  
высоком, с вами прощусь я навеки.*

*Овидий. Тристии*

Когда никого не любишь, невозможно с точностью вспомнить, как оно все было раньше. То есть, не отрицаешь полностью сам факт, что что-то было, но не можешь понять почему. Наверное, чувства крутятся вокруг нами же выдуманного центра, который нас притягивает, как водосток – легкий мусор. Но вот однажды зимним утром, нехотя выпеленываясь из одеяла, или летом, вытирая простыней пот на груди, ты просыпаешься в новом пространстве, где центрированность отменена, где про нее даже никогда и не слышали. Время, в течение которого, словно какой-нибудь аромат, держалась эта т. н. любовь, истекло. Поменялся состав твоей крови, что-то неуловимое произошло в природе, и из кино своей жизни ты выпадаешь в реалистичность телевизионной съемки, без сфумато и шероховатостей.

Незнакомые окраины, поросшие высокой травой. Возможно, там даже есть какие-то обитатели, но с ними не получается установить контакт. Они проходят мимо, не замечая твоих жестов, не слыша твоих обращений. После нескольких попыток ты остаешься в пустоте, теряя уверенность в реальности собственного существования. В зеркале неуютного бара среди незнакомых лиц с трудом различаешь свое, напоминающее бескровную маску больного Вакха. Не узнаешь своих движений. Руки – голые сучья деревьев, заваленные снегом. Вкус во рту и запах, который от тебя исходит, никак не могут принадлежать тебе. Они омерзительны. Ты сам себе делаешься чужим. И, как посторонний, как надсмотрщик, понукаешь себя: «Ну, ну же, двигайся, силь вовремя мускулы» (улыбка, внимательность, участие). Огорчение. Радость. Постепенно ты забываешь, что это новое существо внутри – лишь результат отсутствия, пока однажды не посмотришь на себя с отстраненным удивлением вдруг почувствовавшего голод удава и не вспомнишь, как просыпался от счастья, что начинается новый день.

Моя любовь, которая, как любая другая, должна была и не могла быть вечной, кончилась еще до того, как я это поняла. Ускользящая от описаний с помощью грамматического прошедшего времени, показавшаяся вскоре никогда и не существовавшей, она уходила параллельно с моими иллюзиями отыскать иллюзорную или утраченную родину.

Нужна ли она нам, или ее идея выдумана политиками националпартий? Чем левая часть болота, где разместилось одно племя, лучше его правой стороны, где обитатели устраивают ритуал жертвоприношений чуть по-другому? Или именно левый берег, его особая растительность и обилие сочных комаров делают лягушачье пение настолько живительным, что оно моделирует умы и души обитателей, напитывая их неизменной нежностью и страстью к своему уголку?

Александра Петрова

Комары родных Синявинских болот помнились своей увертливостью и убийственной хваткой, но все же было что-то особенное в тех малинниках детства и всегда сбивающемся подсчете распева кукушки. Что-то, что, возможно, как раз и стоило бы назвать родиной, находилось когда-то под теплым боком, западавшим во вмятины передаваемой по наследству тахты.

Где, кстати, она сейчас, эта родная и ненавистная *lectus genialis*?<sup>2</sup> Трепет по отношению к ней, конечно, был меньше, чем охват взора с Синявинских высот, и все же оба этих места, пусть и в разных пропорциях, заставляли задуматься о смертном подвиге и твоей, пусть и минимальной, просто математической, языковой к нему принадлежности.

Почему я не та, кто живет, где умрет, кто родилась не там, где (плохо) училась, и не та, которая училась там же, где (не) служит? Почему выпадаю из списков, не вишу на доске почета? Не хожу на отеческие могилы. Да и на работу тоже...

Когда есть реальная, подтвержденная свидетелями жизнь, ее легко сделать всеобщим достоянием. Подпитанная гипертекстом комментариев на миражных страницах, она становится еще реальнее, как героический миф или черновики к агиографии. Может быть, родина – это когда есть с кем и о ком позлословить? Когда помнишь, как вот этот неприметный тип с залысинами играл рядом с тобой в песочнице, и когда он знает о тебе все загодя (настолько, что и ты думаешь, что о себе все знаешь)? Говорят, его любовница наконец сумела, обманув ожидания, открыть свою лавочку. И вот залюбили, «залайкали», защекотали ее виртуальными поцелуями. *Fervet olla, vivit amicitia*, да здравствует дружба, пока чан на огне! Между прочим, именно это и есть компания, объединение близких по духу, культурный контекст и подтекст. А что до авантюры, то можно иногда и за границу, или там еще куда, и развешивать опять же фотки: у исторического фонтана со *статусным* мужем, одна с правильной сумочкой, снова одна (но снимает-то он, это понятно) в солнечных *самых модных очках сезона*. Очень романтическая, кстати, фотка. Действительно, нет никакого смысла в личке, если ее не выставлять напоказ.

Эта личка, вышедшая прогуляться во вселенную, чтобы все знали, что все идет по-человечески и даже на зависть, сделавшись достоянием общества, становится безличной, сливается с пестротой миллиардов других изображений и описаний. Спрессованные галереи спонтанных автопортретов под углом треугольного взгляда, с точки зрения совокупности оказываются неожиданно для их авторов новым витком отказа от личности. Бесплотное совокупление интеллектов и амбиций еще до физической смерти и попадания в иные миры. Жизнь. Ее следы. Жизнь как ремесло. Даже в почве виртуального «ничто» кто-то их оставляет глубже, а кто-то скользит незамеченным. И все же, продолжая быть мясным человечком с веточками гнильцы, через коллективное любой из нас может стать вездесущим, разрастись до космических размеров, и тогда, спрашивается, к чему оставлять насиженное? Заросли бледно-розовой мальвы на даче, статус, стульчак, помнящий тепло твоих ляжек, плюшевые тапки, купленные однажды членом семьи, заскоруюлю, замыленную, милую домашность, запах (ну и что, что немецкого?) порошка – «просто и чисто». Почему бы не приютиться наконец у руля благосостоятельности, зачем усложнять? Упростить бы все как раз таки. А ши? Этот кислый запах сметаны, разносящийся по комнатам и застревающий навсегда в щелях мебели? Или мифические кулебяка да каравай, язык, балык, кадык, по которому многозначительно щелкают? Нематериальные медали, награды, взаимопонимание, намеки, поддержка, подножка. Да-да, ведь даже ее обычно подставляют ближнему, даже – ближайшему. Куда это все? С собой ведь не возьмешь, не провезешь через таможенную инакости, – ведь даже в виртуальности стоят своеобразные кордоны. И чего ради? Что за подрывной космополитизм? Ведь там, в другом мире, все соберется и потечет точно так же, только с большими усилиями и без этих родных, понятных вещей. Там, в том новом, приукрашенном фантазией мире живут такие же существа, пусть в немного других тапках, но с той же доморощенной иерархией, это правила жизни, и не принимают их лишь повредившиеся в уме. Разница только в том, что, оказавшись по ту сторону, ты будешь лишен своего распаханного многолетним трудом, однажды застолбленного места. С тебя будут вычтены элементарное тепло и человечность, а если с тобой что случится, а ведь со всяким

<sup>2</sup> *Lectus genialis* – кровать, размещающаяся в атриуме древнеримского дома, объект, имеющий символическое значение во время свадебных ритуалов.

может и даже должно, то и стакан воды, и т. д. Придется бороться за какое-нибудь еле теплое вместилище или утираться подстилкой у чьих-либо ног, крючиться под тяжелым портфелем хозяина, стирая зубы поноской. А что касается заграничных моющих средств, так они уже везде одинаковые, ото всех потом одинаково чешешься, и если даже ты патриот, совсем необязательно мыться отечественными *Цветами любви*. В принципе, на своей территории можно поедать хоть змеиное мясо и рыбу фугу или уплетать дрыгающиеся щупальца живых осьминогов, все равно у них будет тот же уравновешенный и хорошо знакомый вкус национального домашнего блюда. Да если приглядеться, весь мир уже давно причесан под одну гребенку, и если уж так неловко вышло, что пришлось расстаться с родимым, можно клонировать свой дом хоть в пустыне и жить как раньше, по тем же законам метрополии.

Да нет же, дурашка, по, ноу. Удаление от кровного ради неизвестного надолго выбивает из собственного мешка по прыжкам. Только теперь, вдали от своего языка, ты понимаешь, что не можешь больше говорить о прекрасном, а можешь – только о возвышенном, да и то лишь в самом крайнем случае, – жестами (дай пожрать, мне нужно срочно позвонить с твоего мобилника, где тут туалет, как пройти на улицу такую-то, вот смотри тут на бумажке – значки, ты мне тоже нравишься, я тебя (не) хочу, мне холодно, какой прекрасный день, что за самозабвенный Скарлатти в этой приходской церкви; старенький маэстро, этот буржуазный старпер, готовится к рождественскому концерту, а что, тебе тоже некуда идти?). Оказывается, счастье было как раз в возможности поговорить о прекрасном, разделить его с большинством, а о возвышенном, для которого не нужен конкретный язык, в общем-то не говорят. Это просто неприлично. Но ты почему-то ни за что не хочешь вернуться к подобному счастью, хотя не так-то и страшно быть женщиной на первую половину, а рыбой – на вторую (Русалочка была наверняка достойным собеседником), но вот рыбой – на первую, а женщиной на вторую – это безбожно. Ведь в новых краях раскрывать рот будет незачем: никто здесь ничего не сможет вспомнить о тысяче мелочей, которые окажутся такими важными как раз тогда, когда станет очевидным, что о них никому не известно. У них там будут свои герои, но они не достигнут твоего сердца.

Даже когда в конце прошлого века политический фрондер начинал звучать пленительным вражьем голосом, меняющим навсегда судьбу своих детских радиослушателей, он, хоть и трудился на постоянной ставке холодной войны, хоть и возматывал в собственных и чужих глазах, повторяя, что может *смотреть на звезды с любого места на земле*, внутри-то себя он знал, что он есть отщепенец, а щепки отлетают как ненужное и летят по ветерку одиноко и неорганизованно, и не птицами белыми, а древесной мелочью. Потом, когда разделявшая мир стена рассыпалась в сувенирные пестрые бирюльки, а ее картинки из поп-арта преобразились в китч, ореол изгнанника потускнел, а сам он докатился до блудного сына. Ну а новым все еще перемещающимся за чем-то лицам, не нашедшим возможности или не желающим конвертировать прошлое в постоянную ставку или хотя бы во временные гранты, оставалось его похерить. Так же, как свой круг, квадрат, октаэдр, любую форму вообще. Клонация дома была больше невозможна. К тому же не только от уехавшего самого по себе (статус, недвижимое имущество) зависело, останется ли мир за пересеченной границей домашним или нет, но и от благосклонности тех, кто все еще в нем обитал. Зеркала, в которых ты отражалась, в знак траура или просто по рассеянности занавесились черным сукном пыли.

Крысе, сбежавшей с корабля, больше не будет колбасных обрезков! А что? Ты хотела жрать их и там, и там? Столовая – только по прописке!

И правильно, что продадут, выбросят, раздарят твои бебехи, даже не спрашивая, хотя разрешение на это в наш летучий век так легко, если нужно, получить. Ведь если приятели начинают считать чей-то, в основном книжный, скарб, который по причине бездомности пока нигде было приютить, своим, хотя бы потому, что у них тесно, а они так долго и бескорыстно держали это барахло у себя, то нужно понять, что друг и приятель – это не заведующий складом. Посланные теперь уже ушедшими письма, подаренные ими стихи, фотографии, навсегда

сброшенные в подвалы и оставленные на обочинах, все равно кто-нибудь увидит и прочтет. Плесень или микроб поселятся в них, бродячий пес писнет в них лунной желтизной, жизнь продолжится!

Понятно, что подобный подход выпадает обычно на долю умерших, ведь спрашивать у них ничего не нужно, и очевидно, что в глазах тех, кто, преувеличенный лупой памяти, был для тебя живее всех живых, сам-то ты сдох, переселился в лучший мир, где уже не до книг и не до старинных семейных объектов. Что ж, все мы начинаем умирать с рождения, но ведь понятно это только умозрительно. Ну кому хочется быть похороненным заживо? И вот даже без статуса заморского журналиста или профессора все возишься, норовишь высунуться каким-нибудь локтем или коленкой из-под насыпаемого забвения. Однако, если умершие – это те, кто, обливаясь водой Леты, похерили память, то у перешедших черту, у переживших разрыв наблюдаются, наоборот, взвинченные мнемонические способности. Особенно далекое прошлое, даже чуть ли не внутриутробное, они начинают различать галлюцинистически выпукло и детально, так что, скорее, они не мертвецы в чистом виде, а зомби или оборотни, которые, будучи похоронены друзьями на родине, непредвиденно проживают более или менее полнокровную вторую жизнь на стороне, и тогда страх по отношению к ним / нам вполне понятен.

И все же среди миллионов покидающих свою землю не все оказываются злонамеренными нетопырями. Большинство из них никогда не мечтало предать самих себя, хотя кто-то, чтобы развязать себе язык и руки, не желая оставлять отпечатков, выжигал прошлое, как морщины на фалангах пальцев. Эти обычно не оглядывались назад. Кто-то, утомившись ерзать между двух стульев, проваливался в никуда. Кто-то довольствовался официальной бинарностью. И лишь немногие отрезали куски от самих себя, чтобы накормить пролетающих мимо хищных птиц в надежде, что те вынесут их из ямы. Тянули из собственного прошлого нити, превращая его вместо скинии в каменоломню, строили непредсказуемые, точные и эфемерные конструкции настоящего, бредовые, как проекты Пиранези, манящие, словно переливающийся брусничный костюм авантюриста Чичикова.

Кажется, все началось, когда мне было пять лет. Это тогда в молозивной пелене полярного лета, пока все остальные пятьдесят сопляков, вроде меня, спали в железных кроватках, яркая красная звезда находила меня и пульсирующим шаром выбрасывала вдаль свои сообщения (вариант: сверху звезда видела все сразу. Она являлась для всех детей, но, благодаря бессоннице, вечно воспаленному, неугомонному сознанию, только я могла входить с ней в общение). «Это диктат времени, – посылала волны звезда, – двигаться, меняться, спотыкаться, спотыка, спотык, прием, прием, – говорит звезда, – начинать сначала. А кто чистоплюй, тот, – прием прием...» Тут неожиданно включался рассвет или соседняя девочка, проснувшись, просила пластмассовой формочкой в виде рыбки почесать ей попу: глисты, острицы нашего детства; песок Балтийского моря выпадал из формочки на простыню, освещаемую мутноватым белком сходящей на нет белой ночи.

– Ну вот... Что еще за неуместная ностальгия? Ведь начала о звезде, а кончила, прости господи, глистами... И почему, если не могла сидеть на месте, теперь жалуешься? Кстати, эти упомянутые тобой друзья (ну кто вообще в таком возрасте верит в дружбу?) тебе самой не кажутся ли слишком зашоренными, не начинаешь ли порой скучать в их присутствии, потому что они не могут разделить потусторонний опыт и твою параллельную жизнь? А вообще-то ведь ты не родилась каким-то там Христофором Колумбом, не можешь все-таки обойтись без идеологии, вспомни получше: тебя просто выблевало свободной, наконец, от преград волной, как и несколько миллионов других.

– А вот и нет! В детстве еще я повторяла грузинский алфавит по бутылочным наклейкам, неожиданно знала наизубок армянский эпос, а потом уехала в Чухонию за духовностью. Мне всегда хотелось охватить разные точки зрения, в том числе и незрячего, мертвого, нематерьяльного.

– А может, ты просто от тоски рванула, куда глаза поглядели? Бросили тебя, девочка, бросили, отец бросил, мать бросила, а ты вот за это родину, болотную, бесформенную, сине-окую бабень, позабыла в широких полях. Так ведь, родная, родства не знающая?

– Ошибка! Служу своей родине, служу, пусть и издалека, миссия у меня такая, претерпеть в разлуке и любоваться издалека ее непомерным телом. О ней все мои мысли, к ней обращены, в непонимании ее твердолобости, а то, что другую мать себе искала, потому лишь, что ласки хотела. А это не запрещено. Я клятв никаких никому не давала. И, кстати, вовсе не мы нужны этой родине. Это мы сами без нее рискуем оказаться пустым местом. А мне как раз и хотелось почувствовать пустоту и понять, могу ли я жить без этой мамы. Снять помочи языка и ментальности, подвигов и почестей, раздеться, но не для фотографий, а для того, чтобы почувствовать холод и понять, где проходит граница реальности.

Да, такие вот бессмысленные, противоречивые диалоги разыгрывались порой в моей фантазии. Не то чтоб мне не с кем было общаться, но на своем первом языке мне это было делать практически не с кем.

В ту римскую ночь мне казалось, что город перед рассветом похож на негра, у которого от холода и страха схлынула краска с лица. Было и правда зябко, и в этом *Фиате* восьмидесятых подогрев не работал.

Из темноты глухих улиц с фасадами мрачных подъездов мы выскочили под слепящие зенки фонарей большого проспекта. Навстречу поблескивали десятки, чуть ли не сотни ног на каблуках, и фары выхватывали рельеф мелькающих голых и обтянутых чулками мускулистых икр. Резкий театральный свет придавал им преувеличенное совершенство. Веселые трансвеститы то наклоняясь к нашему стеклу, то – издали, стайками, посылали воздушные поцелуи. Стоящие линией оцепления трансшлюшки устало помахивали. В этих караваджиевских, искаженных влажностью вспышках их юные черты приобретали особую драматичность.

Однако человеку, предпочитающему факты, подобные персонажи, одетые вовсе не по моде дня, никак не помогли бы определить дату происходящего, и потому он мог бы вместе со мной близоруко пролистывать ежедневник *молескин* под тусклой лампочкой гремящего дворниками тарантаса в поисках одного телефона, записанного наспех карандашом, и вместе со мной грустно убедиться, что пустых страниц у года осталась лишь тонкая полоса, а на самой первой скромно напечатано «2007».

В найденной после стольких лет скитаний Итаке, с которой я теперь не знала что делать, как с неожиданно вернувшимся с войны мужем, моросил дождь. Мы лавировали между припарковавшимися в два ряда по обе стороны машинами и, стараясь не влипнуть в густое движение, свернули в одну из глухих улиц. На островке парковки, откусившей кусок уютного двора, некто, цепляясь за скользкий корпус автомобиля, с усилием приподнимался с асфальта и снова падал на спину. Будто новорожденный жеребенок, он путался в собственных конечностях и заваливался набок. Его длинная шея не могла удержать голову, и черная грива снова и снова падала на мокрый асфальт. Свет фар изредка проносившихся машин дорисовывал надутую, охваченную декольтированным платицем грудь и трепетный, кирпичного цвета член меж закинутыми безволосыми поджарыми ногами в грязных потеках и синяках. Вблизи крупным планом сверкнуло его разбитое в кровь лицо с распахнутым ртом. Крика не было слышно, но все равно он стоял в ушах, звенел изнутри проводами передач. Дверца «шевроле» была открыта, и мне показалось, что кто-то сидит внутри.

Но, право же, это было местечко не для остановок. Часто даже таксисты отказывались ждать здесь подолгу. Ну а клиенты приезжали на своих, в худшем случае – на государственных машинах.

– Остановиться, что ли? – полуспросил Чиччо, проезжая дальше. – Хотя кто знает, что ждет за поворотом?

– Главное, чтоб не ввязалась полиция, ведь я не гражданка твоей родины мандолин. Отловят, как шелудивую собаку, и отправят в Ребиббю.

Однако давние уроки школьного политдела уже приподняли уровень чувства справедливости в моей крови, словно вяжущая рот барбариска. Это ведь только в Америке люди не останавливаются, если кто-то упадет на улице! Изможденные бродяги в лохмотьях или вполне приличные обессиленные старички пластиковыми бутылками плашмя валились на асфальт, отпрессовываясь бесконечным потоком машин.

«Остановитесь, там товарищ погибает», – пионеры дружно притормозили поток людского движения. Я в белой рубашке и синей юбке стояла рядом со знаменосцем, пока Чиччо искал, как вернуться к валяющемуся на дороге трансу.

На развороте он, упиваясь своим чувственным баритоном, объяснял, что вспыхнувшая мода на трансвеститов и транссексуалов есть отражение нашего мутирующего, непостоянного времени и его протейстической устремленности: «Я тоже не знаю толком, кто я».

Мелодраматично. Хм. Мне-то Чиччо казался упитанным, уверенным в себе лысоватым мужчиной за пятьдесят. Не хватало ему только пропеллера за спиной.

«Чичетто, это я не знаю, кто я, откуда я родом и надо ли еще задумываться о таких вещах, или же это больше неактуально, как книгопечатание», – хотела было сказать я ему, но не успела.

«В Ребиббю тебя не посадят, – мелкие смешки отдавались в руль, тонуший в мякоти его живота, – окажешься в каком-нибудь центре по установлению личности. Я буду тебя навещать по воскресеньям, приносить тебе апельсины на Рождество».

У него было странное и, как заметил бы какой-нибудь французский путешественник девятнадцатого столетия, типично калабрийское чувство юмора, плюс – никакой самоиронии. Эта упомянутая им тюрьма находилась в другой части выселок за последней остановкой синей линии метро *Би* и была мне прекрасно известна, потому что я, по совпадению, как раз жила недалеко от нее. Называлась она так же, как и район, в котором была построена.

Топонимически Ребиббю появилась в шестнадцатом веке благодаря Главному Инквизитору, кардиналу Сципиону Ребибе, купившему здесь землю для своей виллы. Через четыреста лет его жуткое имя притянуло решение возвести на ней тюрьму. Эта небольшая часть города имела обычные географические границы, но в потустороннем, высшем смысле она была лишь одной из составляющих другой, огромной и безграничной территории, которую я, любя переворачивать все с ног на голову, называла *Яилати*.

По-русски получалось, что это слово включало в себя местоимение «я», союз «и» и неких «лати». «Я и лати». «Лати», возможно, и был народ, который обосновался в этих местах, помимо меня. Но если нас надо было соединять с помощью союза «и», получалось, что мы все-таки не были едины. По-итальянски же *Ailati* означало нечто, «отданное лати». Или – «по краям», что еще лучше передавало суть дела.

Уже в вагоне метро становилось понятно, что Италия кончается где-то на середине пути от центра, а страна, куда движется поезд, должна носить совсем другое имя. И если в будние дни среди пассажиров могли оказаться и аборигены, то в выходные, и особенно в канун Рождества или Пасхи, увидеть их здесь было абсолютно невозможно. В дни своих главных праздников местные считали эту страну мало интересной для туризма, а те из них, кто все-таки там жил, ездили на машинах или просто сидели дома.

Яилатцы были народом в основном изгнанным или бежавшим с собственных мест, нуждающимся, затерявшимся во времени и географии. Я же, не будучи изгнанницей, не была уверена в том, что обладаю постоянным гражданством этого государства. Возможно, я была только его парламентаром, военным репортером или даже дезертиром. Страна, в которой я родилась, не сгорела под рукой нахального врага и не исчезла. Она просто вдруг видоизменилась. Хотя ее возглавляли те же люди, которые раньше старались помешать любым переменам, она мутировала практически до неузнаваемости. Сместилась ее география, названия улиц заменились

другими, друзья поменяли привычки и ценности. Здесь не было ничего из ряда вон выходящего. Такое уже происходило с сотнями государств, среди которых мое занимало всего лишь почетное место: его потенциал к внешней мутации и саморазрушению был особенно высок, хотя сущность его, жуткая черная косточка, сгнивший корешок, оставалась всегда на месте. Нет, моя страна не была *выпита, как с блюда*, и *доньшко* ее вовсе не *блестело*. И что это за водохлеб, что за дракон, который время от времени покушался на нее? Чай из блюда вбирали, полоскали им рот и выплевывали назад, просто чайники бесновались при каждом извержении чуть по-другому. И разве Совок не напоминал о метле опричника?

Уезжая, взяла ли я с собой добрых духов – Лары и Пенаты?

На всех изображениях троицы, бегущей из Трои, Пенаты находились у отца Энея, Анхиза.

Полуостров, куда я по любви приехала несколько лет назад (зеркально отражающий Яилати, куда я как раз попала случайно) организовался в виде страны благодаря восточному беженцу-миссионеру, и вся его культура подчеркивала ориентацию на заимствование. Вот уж кто натаскался по миру, так это Эней. Но в многолетних мытарствах этого малоазийца была четкая цель, продиктованная ему из политбюро богов. Он был устремлен, а я лишь недоуменно смотрела на погребальные костры, устроенные в честь моего бегства, случившегося вовсе не по божественному приказу.

Мраморный, апатичный от старости Анхиз неаполитанского иммигранта Бернини, с сильно (будто он всю жизнь прозябал за конторкой) выступающими позвонками сколиозно перекошенной спины и обвислой кожей, угнездился на плечах чувственного, полного сил сына, а над лысоватой головой, упрямо выставив бороденку, держал домик с двумя выглядывающими оттуда фигурками. Пенаты. Это все, что у них осталось.

Как-то преподаватель латинской литературы пригрозил: «Только не путайте Лары, Пенаты и Гения места». Ну уж ни за что бы не перепутала! *Millus locus sine Genio*. Нет ни одного, даже самого захудалого места, у которого не было бы своего гения. Гений места строит петербургские тексты, изошряется в римском маньеризме и устраивает Гуситские войны, ну а Лары – это духи предков, которые по косной привычке крутятся вокруг мест постоянного жительства своих потомков и могил собственных хозяев.

Предков своих я почти не знала, а их могилы были разбросаны на протяжении тысяч километров. Из-за такой разреженности захоронений Лары просто не могли бы создаться. Как грибам – концентрация влажности, Ларам для существования необходима концентрация смерти в одном месте. Так что кочевала я одна, без предков, без их изображений, без их праха и без их поддержки. В отличие от Энея я не взяла с собой и своего отца, он остался в том же городе, где родился. Не было и пожара. Во всяком случае, почти никто его не заметил.

– Так почему же вы убежали? А что насчет голоса богов?

– Нет. Тоже не было. Может быть, очень тихий голос Аполлона, надевшего маску мыши, но не уверена, что это был он, а не пищевод.

– Чтобы не слышать голоса, вам давалась инструкция закрыть слух. Вы просто шпионская сучка и хотели узнать, как целуются за границей.

– Я ведь не поняла, что пересекла границу мне дозволенного (и таким образом перестала быть собой). А за границей, правда, целуются лучше. Хотя бы потому, что это делается вне привычного.

– Слушай, кончай-ка со своими поцелуями. В этом тексте вообще не должно быть секса.

– Ой! А ты кто такая? И в каком еще тексте?! И кстати, насчет секса, кто тут первый полез целоваться? – растерялась я.

– Сомнение выдает самозванца. Должна бы знать про текст. Энею был не только глас богов, но он и сам был сыном богини. Понятно, что это не твой случай, – сказал мне кто-то очень знакомый.

– Однако Лары, ну, эти домашние боги, – для смертных?

– Они там, где – традиция. А разве к тебе не подкатывала тоска и безысходность при одном только слове «семья»? Мы ж беспамятные. У нас традиция то бога прищучивать, то черножопых с жидами из щелей выколупывать, топором налево-направо махать то на иноков, то на инаких, а то вдруг с похмела ходить с цепями да крестами на шее и верить, что мы самый богобоязненный и друженский народ. А насчет архивов, пусть даже чужих, во-первых, не трясись, во-вторых, ведь знаешь сама, что между тем миром и этим до сих пор пролегает река смерти, здесь никакой Интернет не указ. Умерла так умерла, плюнь, *vivos voca*<sup>3</sup>, а в-третьих, вспомни лучше, как друг, правда, конечно, уже и сам зомби, спасал твои бумаги, потопленные хлынувшим в его мастерскую говном, как отмывал каждую страничку. А что до статуса (ты вон ныла, что без него склизлой землей засыпают), то коленки можно и так показывать, и могут вполне даже заметить, но не приличнее ли поэту висеть на виселице, чем на доске почета?

– Оля, это ты, что ли? Где ты сейчас? Давай поболтаем. Я по-русски (*ved my sejchas ro-russki govorim, pravda?*) уже ни с кем не говорю больше года. А если вдруг поговорю, то сразу портится настроение. Вот и сейчас. Услышала тебя, и завтра не захочется утром вылезать на свет божий.

Но голос мне больше не отвечал. Да и не мудрено: в таком шуме и грохоте даже ангел не мог бы докричаться.

---

<sup>3</sup> Зови живых (*лат.*).

## Чужое

«Ну, тронулись», – сказал мужчина у окна.

«Поехали! – воскликнула мать. – Смотри, смотри, деревья бегут!»

И правда, тощие березки пятились, отступали в даль, терялись из виду.

Моему неугомному чувству дороги, так глубоко и противоречиво развитому у моих соотечественников, был дан толчок в один из сереньких зимних деньков наших северных мест.

Вокзал был намного больше, чем он был. Народ спешил во всех направлениях. Бежали и мы. Вернее, мать бежала и тащила меня за собой.

Наш поезд дрыгал ногами в нетерпении, паровоз пыхтел и подскакивал. С чемоданами из прессованного картона мы взбирались по металлической лестнице. Под блеклым небом у дверей вагонов были расставлены женщины в одинаковой форме с оранжевыми, розовыми и красными губами на пасмурных бледных лицах. Женщин называли *проводница*, и они напомнили мне медсестер в поликлинике, что сосредоточенно и безучастно высасывали кровь из пальцев детей с помощью стеклянных трубочек.

За перемещающимся окном лежал неподвижный снег. Иногда ночью поезд подолгу стоял, и голубовато-холодные огни станции скользили по белой простыне.

Гудок паровоза казался хрипом ведьм, недовольных рассветом.

Проводница с алыми губами снова приносила чай и высокие куски сахара на блюде. Сосед в тренировочных штанах доедал колбасу. Он расправлял газету с пятнами жира и читал ее вдоль и поперек. На газете было написано «Правда». Это слово было одно из трех, которые я уже умела читать.

В окне откуда ни возмись, как вылетающие из-под большого пальца картинки, являлись то заснеженные деревеньки и пустынные станции, то неприступно растущие стены хвойного леса. По ним мог бы забраться разве что пират с крюком вместо руки, но он увидел бы только железных птиц, выковыривающих слюду из слепых камней. Проносились рощи с прозрачными остовами облетевших деревьев и безмолвные города, в которых тоже, наверное, жили, и может быть, где-нибудь там, за желтым стеклом пустынной избы, сидела девочка с именем-ледышкой «Оля», которая меня восхищала и пугала одновременно.

Иногда поезд замедлял трясение и останавливался. Пассажиры выходили на улицу, и в душное купе врвался холодный воздух и гомон больших вокзалов или полустанков со спешащими к нам бабами в серых шерстяных платках, распеленывающими еще теплые капустные и яблочные пироги и ватрушки. Обвешанные авоськами с прошлогодней морозной антоновкой и домашними сырами, они заполняли коридор вагона до первого вздрагивания поезда, а потом выходили налегке в свое неведомое, туманное пространство и растворялись, поглощенные линией горизонта.

Почти три дня мы ехали в поезде, хрустя зелеными яблоками и мечтая о каждый час приближающемся тепле. Через окно в купе врезались клинья солнца с мельтешащими позолоченными пылинками. Снова и снова звенели граненые стаканы в стальных подстаканниках, вносили жидкий чай, мы доставали печенье *Мария*. Это было мое любимое, с ямочками, твердо-слющащееся и почти пресное, не то что бесхребетное *Детское*, которое давали в больнице с кипяченым молоком. Кстати, ночью наш сосед по купе, который днем читал газету, а вечером прятал ее под матрас, показал мне в окне коридора Млечный Путь, Полярную звезду и Марс. Он спросил, сколько лет моему дедушке. Тогда бабушке. Мать помогла мне и сказала, что, в общем, ей было очень много лет. «Так вот, – продолжил сосед, – чтоб долететь дотуда, нужно намного больше, но, когда ты вырастешь, ты сможешь там побывать и, может, даже туда пере-ехать. Юрий Гагарин уже туда летал и увидел оттуда всю Землю, как на ладони. А в твоё время можно будет уже долететь до самого Солнца».

Перед сном он подарил мне стеклянный шарик, внутри которого было красное пятнышко. «Это огонь, который живет внутри земли», – шепнул он.

В поезде был туалет. Он был грязным, и с помощью матери я залезла на него в своих мальчишеских ботинках, в которые переобулась в поезде из валенок с галошами. Жидкость вытекала из меня прямо на рельсы. Как отдельный мир или организм, по ним рвался куда-то поезд, выдыхая дым и извергая из себя мусор и нечистоты.

Шавки Белка и Стрелка, как и Гагарин, тоже побывали в космосе. Интересно, как они разрешили это дело и куда из них вытекало и плюхалось? Неужели прямо в небо? И если они должны были писать вниз головой над круглым земным шаром, не проливалось ли все на них самих? Интересовало меня также, долетели ли они до этого *млечного пути*, который был связан каким-то образом с молоком, и еще не там ли находилась страна с молочными реками и кисельными берегами.

Лайка тоже улетела на ракете, но она никогда не вернулась.

После места, где цветы росли зимой и море было соленым, мне хотелось доехать и до тех загадочных далей и, может быть, даже никогда не вернуться.

Когда от газеты соседа почти ничего не осталось, в один прекрасный день под финальный звон стаканов поезд совсем остановился. На подстаканнике под лучом яркого солнца блеснули выпуклые спутник и ракета. Пока они, сияя, продолжали мчаться, а я – смотреть на них не отрываясь, мать, продвигаясь с чемоданом и сумками вперед, сказала, что теперь для меня начнется новая жизнь.

Привыкшие к тесноте купе и ритму дороги, мы, покачиваясь, как матросы, вышли на волю в распахнутых шубах и увидели загорелых носильщиков в одних рубашках и штанах. Здесь все говорили громко, а двигались медленно. Воздух был будоражащим и сладковатым, и сразу же – властно, не спрашивая разрешения, он начал горячо дышать в мое заиндевшее нутро.

От вокзала много часов мы ехали в такси. Снег был покоробившийся, серый, повсюду стояли далекие темные горы, а на деревьях почему-то росли цветы. Мать говорила, что мы, наконец, в сказочной стране моря и солнца, а во мне поднималась рвота. Такси то и дело останавливалось, меня клали на наст, который грязной коркой прикрывал зеленую траву. Я лизала его и потом заглатывала, не жуя. Только он и был родным в этом пейзаже.

Однако море я уже видела прежде. В порту нашего города, до которого мы изредка доезжали с отцом, были корабли, бочки, канаты, спешащий народ, почтальоны с тележками. Там всегда был ветер, и то, наше море, было серым, строгим, холодным.

И вообще город, из которого мы ехали в страну счастья, был если не прямо городом моря, то уж конечно городом воды. Она была там повсюду, а любой кусок земли мог оказаться островом или мостом.

Мать не знала, вернемся ли мы еще туда, и пока наша жизнь должна была продолжиться в этом другом морском месте, которое называлось Ялта.

Такси петляло, рывками карабкалось на холмы, а потом, бурля мотором, сжигая воздух выхлопами бензина, падало вниз. То и дело вдали, то слева, то почему-то справа выпрыгивала лазурная полоса, и мать с улыбкой Петрушки от уха до уха восклицала: «Смотри, смотри: море!»

Значит, все-таки это оказалось правдой: в мире существует такое место, где всегда лето, повсюду растут цветы, без конца поют птицы, люди никогда не плачут, а море такое горячее, что в нем можно сварить яйцо.

Кружила машина, деревья и горы вокруг мелькали все быстрее.

Я вспомнила, как однажды, давно, меня посадили на белую улыбающуюся лошадь с золотой гривой. Карусель помчалась, и сквозь закрытые веки я ощущала яркий свет с регулярно

возвращаемой тенью ветвей, по которой можно было бы сосчитать количество сделанных витков.

Наконец от мысли о вареном яйце меня все-таки вырвало прямо внутри салона. Таксист ругался, ужасно воняло, и я ненавидела страну солнца и моря.

## Римские монстры

*Паренек из народа, поешь  
здесь, в Ребиббии, на берегу убогом  
Аньене новую песенку, что ж,  
конечно, этим ты превозносишь древнее,  
праздничное  
легкомыслие простоты. Но вместе с тем  
что за уверенность ты вызываешь  
в неминуемом мятеже посередь о том  
ничего не ведающих  
лацуг и высоток, ты, веселое семя  
в грустном сердце народного мира.*

*Пьер Паоло Пазолини*

Этот район, где я жила уже полтора года, считался не ахти. Во-первых, из-за удаленности от центра, а во-вторых, ясное дело, из-за близости тюрьмы. Правда, из моего окна на седьмом этаже видны были только горы, высотки и перекрещивающиеся, врывающиеся в то, что осталось от недавних поселков, трассы. Лет пятьдесят назад вытравленные теперь поселки точно так же вытеснили деревни и поля. Как раз тогда здесь жил Пазолини. Он поселился между эвакуированными, безработными, крестьянами, рабочими и люмпенами и ездил несколько раз в неделю в душном автобусе в город. Пахло мужским и сверкали из-под темных чубов яркие глаза неотесанных мальчишек. Свободный эротизм, не прикрытый буржуазным ханжеством, хитреца и простота в одно и то же время. Они могли и за алтын, за какую-нибудь штуковину из магазина, за просто разговор с профессором. Это было живое, неподконтрольное, вне партийных установок на самосовершенствование и чисто выметенные углы. Живя в этом месте, он как будто оказывался в самом *сердце народного мира* с назревающим в нем, словно нарыв, мятежом.

Меня мало интересовал мятеж (невозможный, на мой сторонний взгляд, в этой среде) и народ как абстракция. Я никогда не могла толком понять, что же это такое, и если я по какой-то ошибке и была им, то все же каким-то несъедобным боком. Ребиббия была для меня просто очередным временным жилищем, чья цена пока искупала все остальные недостатки и чьим главным достоинством было метро неподалеку.

Из подземки, носящей то же название, что и самая большая итальянская тюрьма, высказывали деловитые люди и неуверенные яилатцы. Зырякая глазами, прохаживались балканские цыганки, а их пацаны и девчонки с работающим видом то и дело цеплялись за карманы и рюкзаки прохожих. В сквере у здания метро густо росли сосны и пинии, и в летнюю жару, рассевшись прямо на устланной иглами земле вблизи питьевого фонтанчика (носатика, как его тут называли), цыганские семьи коротали свои дни.

За сквером по многоуровневым дорогам днем и ночью мчались легковушки и грузовики. На разделяющих движение островках росла высокая, неприхотливо дышащая выхлопными газами и гарью трава. Летом она выцветала, и казалось, что это мелкие, заброшенные наделы пшеницы.

Слева и справа лязгал и гремел новый век, а внутри тесно застроенных жилых блоков текла домашняя поселковая жизнь. Народ в шлепанцах и в халатах в теплое время года, в каких-то хламидах – в холод, перекрикивался с одной стороны улицы на другую, группиро-

вался у магазинчиков, обсуждая местные события, играл в карты и распивал разливное вино в небольших заведениях.

Через аллеи и пустыри, мимо стоящих в теплое время на улице хромоногих столиков, а зимой – впритык в тесных тратториях со всегда открытыми дверьми, мимо палисадников с одноэтажными домиками шла дорога к тюрьме.

Недалеко от нее начинался огромный парк, где вилась говнотечка Аньене. Собираясь постепенно из множества ручьев, зарождалась она в Стране Дождя (как древние называли горы *Симбруини*). В середине ее течения, там, где она взлетала вверх более чем на сто пятьдесят метров и, необузданная, срывалась множеством каскадов, все еще стояли руины античных вилл, в том числе принадлежащих нескольким великим поэтам, один из которых видел ее *прозрачной кристалла*. Когда-то течение Аньене использовали для акведуков, для мельниц, потом для электростанций и, наконец, для слива и сбрасывания отходов. Хотя на спуске к Риму река теряла свою дикарскую силу и ее обмелевшие воды слыли теперь жидкой помойкой, вокруг нее бурлила еще одна параллельная жизнь. В хибарах и бараках из подручного материала обитали албанцы, сербы, румыны. Да кого тут только не было! Преобладали все же миттельевропейцы. Они вели здесь основательное хозяйство, в адской реке ловили форель и раков и под блеск лилово-пурпурных закатов жарили их на кострах, различаемых из окон приокружных высоток. Стирала и сушила белье, играли на гитарах или устраивали пирушки под включенный транзистор. Рядом, но немного отдельно жили появившиеся здесь во время войн в Югославии или пришедшие в девяностые годы из Румынии цыгане.

Давая место новым обитателям, барачный городок спонтанно разрастался, пока некоторые из его жителей перекочевывали в тюрьму по соседству. Ее окольцовывали низко раскинувшиеся холмы, из-за подвижных островков овечьих стад казавшиеся пятнистыми от снега, вставленного в голубую оправу далеких *Тибуртинских* гор.

Наверное, все это видел и Валерио по прозвищу Вал, что снимал комнату недалеко от тюремных блоков. Может быть, и у него был огородик, и там росли листья салата, красный перец, помидоры различных сортов, петрушка. Цвели розы, не подозревающие о сомнениях.

Было около шести вечера, когда в одном из баров района *Пьетралата* на границе Италии и Яилати меня представили человеку с гордо посаженной головой, прямым торсом, горящим изнутри каких-то потайных гротов и в то же время беспомощным взглядом. Борода с нечеткой линией указывала на то, что вряд ли он был педантом, а коротко постриженные усы, приоткрывавшие верхнюю бледно-коралловую губу, за которой виднелись два больших прокуренных зуба с хулиганской щелью посередине, – о том, что он не чужд удовольствий и хорошо знает себе цену: ведь длинные усы старят и мешают поцелуям.

Пока на улице Чиччо мусолил свою неизменную *Савинелли*, а Вал успел прикончить две сигареты, через стекло бара я исподтишка разглядывала незнакомца. Фланелевая рубашка в синюю и фиолетовую клетку была не заправлена в широкие джинсы, изношенная ткань которых на одной из коленок ненамеренно превращалась в модную дыру, потрепанный пиджак казался то коричневым, то густо-синим. Пиджак-хамелеон. Ноги были крепкими и чуть колесом. Когда наконец, войдя в бар, Вал сел, джинсы обтянули его колени и обнаружили их квадратную форму. Волнистые, густые темно-каштановые волосы с рыжиной и проседью доходили до мочек ушей, и надо лбом, обнажая его классическую высоту, поднималась непослушная прядь. Все в нем было небрежно и в то же время сногшибательно точно. Он показался мне духом цветочного поля, на которое с полуденной высоты смотрят белые облака. Однако, хоть я и абсолютно не смогла сосредоточиться на смысле отрывочного разговора, который продолжался между Валом и Чиччо, волнуящее впечатление от *сельваджо*<sup>4</sup> в тот момент все-таки не смогло пробить мою бесчувственность улитки, наступившую вследствие осознания одной

<sup>4</sup> Selvaggio (*um.*) – дикарь.

совершенной несколько лет назад ошибки. Иногда я называла ее судьбоносной. Но если она была таковой в действительности, то, получалось, ошибкой тогда не была?

На все мои последующие вопросы о его приятеле Чиччо отвечал уклончиво. Упомянул только вскользь, что сейчас он подрабатывает, как может: что-то чинит, что-то строит, где-то штукатурит и красит. «А вообще, какая тебе разница, как человек, пусть даже и в пятьдесят лет, пусть даже в сто, зарабатывает себе на жизнь?»

В Чиччо не было никакой душевности, он был весьма избирателен и дорожил своим временем, но вместе с тем высоко ценил идею дружбы, и от меня не ускользнула его трепетная привязанность к настолько на него не похожему человеку.

Около семи, когда температура стала резко падать с дневных семнадцати до девяти сумеречных градусов, мы с Чиччо на его полуразбитой тачке выехали из страны Яилати. На этот раз мы спешили к мадьярам, чтоб смотреть у них бесплатный фильм, после которого к тому же был объявлен фуршет, и делом чести для Чиччо было занять места пораньше.

С углов дворца, в котором располагалась Венгерская академия, тщетно пытаюсь встретиться взглядами, смотрели клювоносые кариатиды с женской грудью.

– Простите, – обратилась я к ним, задрав голову, – не скажете ли, как пройти к высшей точке блаженства? Снизу такое впечатление, что вы можете знать туда дорогу.

– *Вафанкуло*, иди в жопу, – ответила мне одна из них на чистом романаиччо, даже не взглянув. Другая меня не удостоила и этим, а просто продолжала смотреть сквозь, в пустоту.

«Ничтожные химеры», – и я сделала вид, что они меня вовсе не интересуют, хотя их создатель, покончивший с опостылевшей ему жизнью здесь неподалеку, был для меня носителем тайн пространства.

Сатиры, пигмеи, единороги, кентавры, циклопы, сирены, гарпии, бестии всяких видов давно и прочно прижились в этом городишке, и с ними приходилось считаться.

Закончился даровой показ, Чиччо перехватил что-то из почти сразу исчезнувшего угощения (казалось, на этот фильм собрались все голодающие Рима), успев притащить мне пластиковый стаканчик неплохого красного и пирожок с сыром, и мы рванули к автозаправке недалеко от Народной (а может, Тополиной) площади. Потом, залившись бензином, искали какой-нибудь пока не закрытый симпатичный бар, потому что Чиччо перед ужином, который он запланировал себе по возвращении домой, хотел выпить почему-то именно вермута. Порой, особенно в дождливые дни, с ним случались подобные капризы. Подавай ему вермут, и все тут! Нужный бар никак не подворачивался, и так, крутясь-вертясь, мы проскочили через район *EUR*<sup>5</sup>. Изю всех своих выхолощенных национал-социалистических жил он все еще пытался дотянуться гранитом и мрамором пустых офисных дворцов до античных пропилен и подиумов. На вымерших площадях вокруг фонтанов с их восхваляющими труд мозаиками под киношно-триумфальной подсветкой ветер гонял бумажно-пластиковые следы дневного присутствия клерков.

Неожиданно для себя мы пересекли границу и, оказавшись уже в Яилати, наткнулись на того избитого человека. И вот, черт возьми, теперь, сделав крюк, нужно было проехать всю эту широченную улицу в обратном направлении, чтобы хоть как-то успокоить свою совесть.

Кружа, словно потерявшая шоры лошадь, наш допотопный *Фиатка* выскочил на еще одну площадь и оказался в стае своих беспрестанно прибывающих четвероколесных близких и дальних родственников. Послушно пристроившись к выводу, мы не сразу поняли, что продвигаемся к фантазмагорически причесанным и покрашенным *девочкам*. Одалиски поигрывали узкими бедрами, машины, довольно урча, ползли вперед, и свет голубой мигалки от дежурившей неподалеку полицейской тачки гулял по их покрывкам, создавая иллюзию грозы. Клиен-

---

<sup>5</sup> Esposizione Universale di Roma (*um.*), сокращенно Eur – Всемирная выставка Рима, первоначально архитектурный комплекс, спроектированный в 30-х годах XX века, сейчас название района города.

тов на этом распахнутом всем ветрам пространстве было явно намного больше, чем на предыдущих улицах. Решив не дожидаться нашей очереди, вырвав из процессии и проплывая мимо стены темных стекол, мы угадывали за ними вырвавшихся на свободу женихов, мужей и отцов семейств, замерших в ожидании своих пятнадцати минут в компании созданий, которые сочетали в себе лучшее обоих полов. Какая-нибудь латиноамериканская Агата, Аличе, Беа, Джулия с выступающей из корсета, словно конфеты *баччио перуджино*, смуглой грудью, достигая верхним краем голенища груди прячущегося в ее тени клиента, могла, с одной стороны, вставить этим старперам или юнцам по самые яйца, а с другой – принимать их добро полными губами, вбирать сильным ртом, прикрывая сладкие глаза пушистыми ресницами. Девчонки-конюхи с нежными женскими именами кокетливо и почти скромно играли длинными локонами и загадочно улыбались. Они выслушивали проблемы мужика, как мужики, и заласкивали его, как бабы. Не только протестическая эпоха, как говорил Чиччо, подумалось мне, а и наша победа в эмансипации: самец, грубый захватчик, наконец, повержен с помощью девчачьих выросших мускулов, и милый друг идет к тому, кто, с одной стороны, главным похож на него, а с другой – кажется тем манящим осколком женского идеала, что размножен до бесконечности кинолентами, литературой и рыцарскими легендами.

Примерно через полчаса мы все-таки подъехали туда, где только что кто-то, кажется, умирал, но там никого уже не было, хотя серый *Шевроле*, за который он цеплялся и под которым корчился от боли, стоял на том же месте.

Мы вышли из винтажного красного драндулета Чиччо и подошли поближе. Все еще накрапывал дождь. Табло моего мобильного тускло осветило кровавые следы на крышке машины. Убедившись, что на асфальте были лужицы той же жидкости, мы поспешно ретировались.

В прострации Чиччо повернул на восток. Ему вдруг захотелось показать мне окна своего дома. Нет, не зайти, но просто – его точку зрения на мир.

По дороге мы проехали неподалеку от древнего города Габии, где до сих пор среди поля травы стояли стены храма Юноны, богини семьи и благополучных родов, и где, говорят, Ромул и Рем научились читать. Асфальт блестел тысячами сброшенных, словно змеиная кожа, презервативов, а по краям одной из самых значных улиц этого города, прикрытые сверху куртками и почти совсем оголенные внизу, маячили на этот раз настоящие биологические девчонки. При виде приближающейся машины некоторые зябнувшие птички автоматически крутились вокруг себя, как скоростные планеты, иные застывали, выставив кое-как прикрытую попку навстречу фарам. По обочинам валялись грязные матрасы с лохмотьями.

Этот город извечно славился своими шлюхами, куртизанками, фаворитками, лупанарами и борделями, которые, в отличие от другой Европы, не ограничивались одним-двумя кварталами, а вырастали из любого угла. Но совсем необязательно было *chercher* в этом *la femme*, шерсти не шерсти, но еще в пору Античности во время семейных трапез свита женственных длинноволосых мальчиков, игнорируя подавленное выражение лица жены хозяина дома, то наливала ему вино, то подавала наперегонки любимое блюдо, а он с мягкой улыбкой ловил манящие невинностью и сладострастием взгляды юнцов. В христианское время сильный перевес мужского населения над женским, в основном из-за концентрации монастырей, церковей и присутствия папского двора, породил огромный спрос на девочек, в которых уже четыреста лет назад охотно передевались и мальчики, весьма необходимые и сами по себе.

По подсказке апостола Павла, девочке тогда не разрешалось петь в церковном хоре, и живи Блок в Риме, он заменил бы ее на мальчика, а с шестнадцатого по начало девятнадцатого века переделал бы в *travesti* – ангелоподобного кастрата. Несмотря на папский запрет для женщин плясать и петь в театрах, они туда все-таки просачивались, но не вызывали таких восторженных рыданий и оваций, как их коллеги, не говоря уже о пении во славу Господню. Церковь, осторожно поощряя бедных и талантливых малолеток к музыкальной карьере сопрано и

набирая их, уже изувеченных, в Сикстинскую капеллу, одной рукой утирала благостные слезы, другой – клеймила оскпление.

Пусть евнухи и вышли из моды, но Рим, который в четырнадцатом веке представился Аврааму из «Декамерона» *местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний*, изменился не так сильно, как это могло показаться при приземлении во *Фьюмичино*<sup>6</sup>.

Как обычно, с паузами и важностью, будто какой-то ттец, Чиччо продекламировал, что он не ханжа, но лучше, наверное, было показать мне его дом днем. И он уповаает на то, что этот молодой человек или эта девица, в общем, это человеческое существо, которое вот так трагически мучилось только что на панели, или точнее и корректнее было бы сказать на асфальте, сейчас в добром здравии, ну или хотя бы останется живо.

Только в заведении на площади В. мы немного пришли в себя. Здесь все казалось неизменным. Как всегда, полоумные чайки, перенесшие сон на более спокойное утреннее время, деловито кружили над тепло подсвечиваемой машиной мрамора. Прямоугольные гвельфские зубцы темного ренессансного палаццо отражались в своей гибеллинской карикатуре, построенной четыреста лет спустя. Вдалеке белела колонна с серпантинном древних мраморных комиксов, как первый вектор в силовых соотношениях власти, расставленных на этом территориально карликовом и бесконечном по смыслу пространстве.

Несмотря на то, что было уже около трех ночи, Чиччо заказал все-таки свой вермут. Эту идею фикс он объяснил, наконец, тем, что в тот день я напоминала ему Артемиду, в честь которой называлась горькая трава *артемизия*, по-немецки *Wermut*, необходимая для этого напитка, придуманного в восемнадцатом веке одним туринцем.

Ох, наверное, вид у меня был слишком строгий, коль бедному Чиччо напомнила эту жестоку богиню, эту зверюгу, эту медведицу.

Под ярким светом люстр Чиччо изображал мне взгляд девочки из свиты Дианы Доменикино, сидящей голышом в воде, который он сравнивал со взглядом василиска, а я пыталась понять, где проходят границы дозволенного и как их заранее распознать. Где начинается божественный гнев, который может ни с того ни с сего обрушиться на простого смертного, как это случилось во время охоты с собачником Актеоном, искренне восхитившимся хорошей фигурой богини, и что делать, чтобы его на себя не навлечь? Увлечешься вот так чем-нибудь и неожиданно будешь разорван собственными псами или другими близкими.

Отражения Чиччо двигались сразу в трех зеркалах и накладывались на силуэты различных любителей абсента, который лет сто назад изготавливали из той же травы.

Двери были открыты. В них задувало ветром, подхватившим повышенную влажность на терренских берегах. Разумеется, не топили. До конца ноября об этом не стоило даже мечтать, и сквозняк, который, кажется, никого, кроме меня, не тревожил, как полудомашний кот, гулял под столами. Как всегда в этих зябких местах, я сидела, не сняв куртки и замотав шею шарфом, глотая бледную жидкость, выдаваемую за чай, которую подливала себе из маленькой жестянки с пакетиком липтона на дне.

Заведение работало круглосуточно. В первом отсеке *баристы* в белых колпаках и фартуках, с черно-желтыми огромными галстуками-бабочками под желтыми воротниками вились и крутились ради никак не уменьшающейся, несмотря на странный час, клиентуры, состоявшей в основном из мужчин. Кто-то уже покупал горячие *корнетто* и *каппучино*, а кто-то догуливал ночь над стаканчиком спиртного. Несколько человек, как заколдованные, застряли во втором отсеке, где были табачная лавка, газетный киоск и автоматы. Из нутра этих закормленных монетами мойдодыров выплывались билеты мгновенной лотереи. В киоске можно было приобрести также *«гратта и винчи»* («поскреби и выиграй»). На деревянной подвесной полке истово соскребали серую чешую надежд, а потом, как правило, выбрасывали оголен-

---

<sup>6</sup> Римский аэропорт Леонардо да Винчи находится в городке Фьюмичино.

ную карточку. Кто-то, впрочем, хоть и понемногу, выигрывал. Что скрывать? И мне нравилось с замиранием скрести и узнавать свою судьбу. Несколько раз под серебряной краской меня ждала небольшая, но спасительная цифра. Правда, не в этом баре. В одном местечке, о котором можно – только по секрету, потому что там всегда выигрываешь и оно мне еще может пригодиться. Надо же оставить себе что-то на черный день, тем более русские люди в этот город обычно приезжают не за мелким выигрышем, а за скидками, так что, наверное, это никому и не интересно.

Как назло, только мы высунулись на улицу, опять зачастил дождь. Чиччо поднял воротник плаща. Все-таки он был с Юга.

«А вот почему тебе, северянке, здесь холодно, никак не могу понять», – повторил он в сотый раз. Как будто бы я ему уже не объясняла, что поставщикам газа и нефти гораздо реже приходится сидеть в нетопленных помещениях, даже если они оказались ими лишь по рождению и никого не спихивали с народной гадовой трубы.

Мы ехали по очередному проспекту, названному в честь их первого короля-лилипута, образ которого только что пытался архитектурно доминировать на оставленной нами площади.

В нескольких шагах от злосчастного балкона, с которого не так давно зазнавшийся мордастый паяц дирижировал волей рьяно молящихся на него человечков, горел свет в здании нового тирана. Стояли машины карабинеров, и они, скучая, несли несменный караул, как солдаты у Вечного огня, что горел по соседству.

С моста мы увидели, как поднялась вода. Когда-то, когда границы охраняли боги, Тибр разделял мир на два – этрусский и римский, а теперь его правая и левая стороны мало отличались. Обе набережные были еще сухими, и на обеих спящие под многочисленными мостами, в арках клоаки и нишах древних складов могли быть пока спокойны.

Окошко того, кого называли почему-то «папой», было темно. Как и бомжи, он ложился и вставал рано, жизнь, как и они, вел рабочую и, как почти все они, был иностранцем. Жаль, что он не мог пригласить таких похожих на него людей в один из миллионов домов, принадлежавших его церкви. Даже на поверхностный взгляд, приютов и вложенных в них денег явно не хватало.

Отвратительные загородки стояли вокруг площади, а ведь я помнила, как все было до одиннадцатого сентября две тысячи первого года. Как будто госаппараты всего мира только и ждали этой трагедии, чтобы понаставить заборов.

Медленно въезжая на безлюдный холм бога Всего Нового, мы смотрели, как слева, весь в святящихся, умноженных влажностью огоньках, постепенно открывался перед нами черный город. Он пах свежей ночной выпечкой и молоком волчицы, стекающим по пухлым ртам близнецов, еще не знающих, что один из них убьет другого.

От *Трастевере* мы повернули на северо-восток и уже через несколько минут мчались по пустынному проспекту. Беловатые бетонные стены тюрьмы, окрашенные холодным лунным блеском, показывались за поворотом то одной, то другой улицы. Ребиббия еще спала, хотя уже кое-где слышался грохот открываемых решеток баров и газетных киосков.

При прощании Чиччо заметил свежее пятно крови на манжете своего и так бордового, давно не стиранного пуловера и закрыл входную дверь моего временного жилища на том, что он чувствует себя римским монстром.

Взбегая по неуютной лестнице на свой седьмой этаж, сквозь немытые стекла я выхватывала его обремененную пузом, но все же легкую фигуру в длинном плаще, пока она, уменьшаясь, не исчезла совсем на пульсирующей желтыми светородами улице, уже подсвеченной трусоватым, почти зимним восходом.

## Море

Казалось, раскачиваясь над землей, я все еще гляжу сквозь грани стакана на свешивающиеся ноги соседа. На мчащиеся поля и безлистные кроны за окном, и они раскатываются в синюю ленту моря и белую – неба.

Наконец полосы остановились и оказались тельняшкой, обхватившей широченную грудь незнакомого моряка. Открылась дверь в комнату, подо мной проплыл стол и несколько стульев, и через секунду, выпраставшись из моряцких рук, я уже спала в высокой кровати.

Белизна ситцевой занавески резанула приоткрывшийся зрачок. Солнце заполняло собой все пространство, кругло обходя углы и превращая его в золотой шар. На пустой высокой подушке рядом со мной спиралью серебрился длинный волос.

Опять распахнулась дверь, и в комнату впрорхнула Надя.

Она носила на голове тиару из блестящей, мелко вьющейся седины и ходила с носка на пятку, почти не давя на землю. Никогда не сутулилась. Все, до чего она дотрагивалась, получало качество дополнительной легкости. Все, что она готовила, было воздушным, и только ей удавались такие высокие взбитые сливки, такие тающие пироги и тягучие безе, при первом надкусывании которых едок, теряя земные ориентиры, все глубже и глубже проваливался в облака.

Точным движением балерины Надя отдернула тяжелые шторы и вернулась к кровати, где я медвежонком сидела, закутавшись в огромное одеяло. От ее кожи, волос и очков, за которыми плыли увеличенные стеклами серые глаза, исходило множество лучей. Они покалывали, как при электрофорезе.

Из-за света, вошедшего через высокое окно, комната теперь сделалась квадратной. На столе сияли две белые тарелки, масленка с ножиком, тарелочка с печеньем *Мария* и две чашки с блюдами. На льняных белых салфетках застыли ложки. Всего было по два. «Значит, мамы опять не будет», – промелькнула тень чувства.

Но Надя умело управилась с моей грустью, которая мгновенно перешла в беспричинное веселье. Так трудно понять чувства головастика! Мой крутой лоб то и дело перевешивал тяжесть тела. При таких частых встрясках он был всегда в шишках, а заключенное в голове было похоже на дом, полный неостановимо летящего птичьего пуха. Правда, я была уверена, что мое темя время от времени открывалось, вроде чайника, пух вылетал наружу, а внутрь залетали разные идеи, как, например, длинный коридор, по которому уже в следующее мгновение я шла, подсакивая. Вел он в общественную *уборную*, где я была со смехом обрызгана, растормошена, отмыта от дремы, чтобы потом за завтраком воспитанно поесть позолоченную большим куском сливочного масла манную кашу и с медленно нарождающимся восторгом вплаваться в новую жизнь.

Началась она с того, что мы вышли из общежития моряков и оказались перед бездной воды, которая вчера сверху мне явилась лазурным псом, гоняющимся за кончиком собственного хвоста.

Теперь, на мой синий взгляд, море было синим, хотя все называли его *черным*. Я уже заметила, что названия почти никогда не соответствовали сути. Слова были одеждой событий или явлений. За семью замками, за тридцать земель была запрятана истина. Сточить множество железных посохов и победить нескольких драконов, чтоб однажды увидеть мир обнаженным, – ради этого стоило принимать правила других: доедать все, что дают, подолгу не видеть мать и не жаловаться.

Море было намного больше, чем вокзал. Может быть, даже оно было бесконечным. Один из белых кораблей-башен двинулся и загудел хриплым, срывающимся басом. Я закрыла уши ладонями, и неожиданно брызнувшие слезы обожгли. Надя смеялась, и прядь ее волос выби-

лась из-под шляпы. Выпутавшись из ярких бесформенных пятен света, зрение обрело четкость, ударились о качающиеся лодки. В одной из них, как будто бы на расстоянии вытянутой руки, стояли два мальчика и загорелый старик в ослепительно-белой майке. Он держал в руке сеть, которая тяжело падала на деревянное дно.

Все было медленно и бессвязно, как когда начинаешь проваливаться в сон. Народ фланировал по набережной, встречался, раскланивался, расходился. Девушки, обнявшись по двое или по трое, смеялись. Они хихикали и чуть оглядывались, когда моряки, проходившие группами, что-то им говорили, а я гордилась, что нас с Надей поселили в *морском* общежитии.

По стенам невысоких домов росла борода выющейся зелени.

«Плющ», – промолвила Надя. Даже змеиные слова она умела выпевать, как птичка.

Вслед за ней я подняла взгляд и наткнулась на женщин в цветастых халатах и мужчин в майках и полосатых пижамах, повисших прямо над нами на открытых балконах. Они смотрели на прохожих и громко переговаривались.

Вокруг моря толпились горы, и они тоже были синие. Запахи и насыщенность света были непереносимы.

Плотные фиолетовые аллеи оказались сиренью. Еще какие-то лиловые цветы свисали с кустов. «Глициния», – назвала их Надя и привстала на цыпочки, чтобы понюхать. На земле валялась упавшая гроздь, и, подняв ее, я подумала, что вот так должен был выглядеть дворец Дюймовочки.

Белые шапки были у миндаля, а розовые – у персика.

Когда, возвращаясь, мы шли по тусклому коридору общежития, я чувствовала себя переполненной цвето-светом, и пока Надя готовила обед, я нарисовала синим карандашом море, а красным – поезд.

Там, где он входил в море, оно становилось фиолетовым.

## Гротески

*Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, то есть не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет.*

*А. Герцен. Былое и думы.*

Заметив мое смущение, работница оптики умело разговорилась и уже через несколько минут казалась мне проверенной подружкой. В конце она подарила мне две коробочки с искусственными глазами.

Преувеличивая сходство с раненым существом, брошенным около недели назад на дороге, я всматривалась в ее лицо с крупными резкими чертами и мощную фигуру биатлониста. Повернувшись ко мне спиной, она хрипло щебетала и выцарапывала из зеркальных ящичков реконструированными черными ногтями маленькие коробочки с линзами.

– Песочный человек, – рассказала я ей, – когда-то унес мои глаза. Уже много лет обращаюсь в магазины за другими, но мой взгляд на мир никогда не менялся.

– Можно быть слепым и иметь очень яркий взгляд на мир, – ответила мне окулистка, на высокой скуле которой просвечивал умело запудренный синяк.

Ее ответ застал меня врасплох. Свет ослепшей в конце жизни Биче Ладзари, шариками цвета ползший по ртутным лучам ее картин, дополз до моего горла.

Да, окулистка была права, но была ли она просто окулисткой, или все-таки именно он (а) корчилась вчера от боли под корпусом машины, и именно на нее / него кто-то, не двигаясь, смотрел через стекло, пока мы искали парковку?

А впрочем, как можно было найти этого несчастного после лишь нескольких мутнеющих образов, которые оставила ночь? Совесть посылала мне ложные сигналы, чтобы я не забыла об умирающем двусмысленном божестве, валявшемся несколько часов назад на задворках, а сейчас из сеней моей памяти стучавшемся кулаками в здоровый мир.

Через три дня, под предлогом того, что мои пластиковые глаза сносились, я снова вернулась на длинную кишку улицы Биссолати. Это имя почему-то мне казалось знакомым, но я не могла вспомнить, где именно я его уже слышала.

В то время мое одиночество доходило до того, что порой за теплым словом, за улыбкой продавщицы или продавца, за шуткой, пусть даже и надо мной, я заходила в первые попавшиеся магазины и лавочки. Если улыбка никак не клеилась, я просто следила за инсценированными перепалками, внимая политическим разглагольствованиям или сплетням плебса. Это была жизнь. Мне нравилось возвращаться на старые места, где меня любили, пока я выбирала товар или заказывала чашечку кофе. И чем гуще позвякивало в моем кошельке, тем радостней мне было от полученной в ответ теплоты.

Но когда уже не было ни гроша, можно было попробовать отыскать понимание в каком-нибудь роскошном магазине. Переступив однажды его порог, я попадала под ослепительные, усиленные зеркалами софиты и сразу же обретала вторую тень. На каблуках, в черном костюме или платье, идеально причесанная, преданная, как хичкоковская миссис Денверс своей хозяйке, она спрашивала, не нужна ли мне помощь, и я, чуть посомневавшись для вида, с достоинством ее принимала. Тогда, окинув меня профессиональным взглядом и чуть порозовев лицом, она принималась набирать лежащее стопками на прилавках тряпье, снимать его с вешалок и кое-что доставать из закровов. Ее прохладные, быстрые руки вдевали меня в пиджаки и упихивали в узкие платья. «Ну как, ну как?» – звала иногда она на помощь товаров. Они группировались и в праздничном ажиотаже дышали около кабинки, словно какие-нибудь

состоятельные тетушки, посвящающие себя молоденькой племяннице. Совместные взгляды в зеркало, повороты, наклоны, слова восторга и одобрения. С улыбками восхищения добрые родственницы, продолжая жонглировать комплиментами, продвигались к кассе и легонько подталкивали к ней и меня. Здесь между нами возникла самая главная схватка. Я должна была убедить их отпустить товар восвояси, не лишившись при этом их неумной любви. Способы были различны и зависели от настроения и места: попросить визитку, чтоб непременно вернуться, сказать, что аллергия на что-то, из чего сделаны одежды, что внезапно вспомнила, что такое у меня уже есть или что забыла кредитку. Наконец женственная мишура, стоящая, например, два месяца квартирной платы, возвращалась в свою первозданную анонимность. Последние объятия, и я вылетала на свежий воздух, напившись восхвалениями, полученными от двоюродных сестер манекенов. Их кратковременное внимание превращало меня в любимицу дружной семьи. Ну и что, что они хотели мне всунуть баракло обнаглевших коммерсантов и дизайнеров, которые за половую тряпку запрашивали последние деньги, отложенные на улучшение всего мира! Ну и что, что каждый раз, когда я собиралась даже теоретически себе что-либо купить, мир становился хуже из-за моей несамодостаточности! Малолетние китайцы и индийцы, получая ранения, снова и снова влезали своими игольчатыми тельцами в тряпки Гуччи и Армани, вытягивая петельку за петелькой, стежок за стежком. Святые отшельники отворачивались, а пионеры-герои безмолвно плакали. Их строгие лица смертников еще больше темнели. Прекрасно сознавая, что можно обойтись и тремя рубашками из мешковины, в подобные моменты слабости я была просто коррумпированным потребителем, убеждающим себя, что и мода есть средство измерения эпохи. О, в этот момент я не хотела ничего знать о том, что она вполне может быть соткана из нитей ада.

Но если уж и гореть в аду, то лучше это делать не в маленьком черном платье, а в светлом, приталенном широкой вставкой-поясом, с длинной юбкой, по которой ползет коралловый лангуст. Да и в любом другом платье или пиджаке, сделанных забытой соперницей Коко Шанель. В том, например, где рука вышитой женщины с золотящими один рукав волосами, прижавшись к талии живой хозяйки пиджака, держит серебряный бант. Или в пальто, на спинке которого два профиля под небом из крупных венчиков роз тянут друг к другу губы. Если присмотреться внимательней, то окажется, что два лица вычерчивают собой контур увенчанной розами вазы. В гробу я хотела бы лежать в таком пальто. Ну а по улицам пока приходится бегать в мальчишеском. Это совсем не к тому, что Эльза Скиапарелли была только *шокирующе* розовой. Она была еще и практичной. Ну что бы мы делали без ее брюк и, главное, без ее застежки-молнии? Она была практична, как практична безудержная фантазия, бегущая впереди своего времени, ибо только ее легко повсюду носить с собой.

Хотя, на первый взгляд, у Эльзы было мало общего с Римом, она все же родилась в этом городе и прожила в нем двадцать лет. В ее вещах было полно обманок, гротесков, барочного преодоления формы и материала, эротизма, асимметрии, чувственности и фейерверков. Ее конструкции были остроумны, добротны и фееричны. Город, коллаж эпох на лицах его домов, в чревах церквей, его мертвые части, приспособленные для живого, любой материал, подвернувшийся ему под руку, дабы заделать образовавшуюся дыру, – все это перешло и в ее наряды. И уж если доисторическая шерсть давно свалялась и не греет, почему бы не украсить себя природой, словами и сладостями? Однако Эльзин авангардизм претил послевоенному здравому смыслу и желанию роскоши новых буржуа. Оставив шутовство и разборки с подсознанием, костюм снова стал выражением иерархии и власти, а в наш век чуть ли не за каждой его линией маячила машина, лязгающая и плюющая единообразием и разложившимися, хотя порой и привлекательными останками госпожи Моды, чей труп поддерживался в отличном состоянии бесчисленным количеством прислуги и поклонников, за которыми то и дело увязывалась и я, как дети за военным оркестром.

Великанша из оптики была явно из примкнувших. Словно одна из обитающих в надупренных и безликих шкатулках ярко окрашенных тетушек, в этот день она была вся в черном и напомнила мне кукловода или машиниста сцены. Она сразу же узнала меня, замахала ногтями. Сегодня они были красными с белыми полосками.

«Привет, красавица», – пропела она высоким, томительным баритоном, и мое сердце растаяло. Безусловно, и она жила в стране Яилати, ведь только люди, обитавшие там, умели быть такими искренними.

Приоткрыв было рот, чтоб сделать мне еще один комплимент или широко улыбнуться в ответ на мой, гигантша вдруг насупилась. Обернувшись, я увидела мужчину, собирающегося войти в магазинчик. Смазливый тип. Немного петушиная элегантность, красный шарф, длинное синее пальто, глаза-жуки, черные усики.

– Кармине, у меня клиенты, ты что, не видишь? – недружелюбно встретила она типчика с порога.

– Ничего, ничего, не беспокойся, я подожду внутри, – бросил он и промаслился внутри зеркальной дверцы, находившейся за прилавком.

Хотя после его появления моя краля сделалась недоступной, не так-то легко было меня выпроводить. В тот день я еще недополучила своей порции нежности, душа же моя уже была отворена ногтями этого постороннего существа и ждала хоть какого-то продолжения. Конечно, я могла зайти в бар за углом, заказать кофе с капелькой молока («Горячего?» – «Да, горячего, пожалуйста»), а потом поменять заказ на молоко с капелькой кофе, и так сам по себе получился бы довольно интересный разговор, но я уже выпила свой кофе, и деньги оставались только на искусственные глаза. И, пожалуй, надо было бы купить такие, чтоб держались месяц, это дешевле, чем вышвыривать каждый день старые в туалет.

– Какой маникюр отличный ты себе сделала, – между тем похвалила я ее, бесстыдно демонстрируя свои руки с мальчишескими голыми ногтями.

– Если хочешь, дам тебе телефон заведения, это здесь, за углом. Можешь выбрать себе любой рисунок. Мне вот нравятся лилии, – не выдержала она моего напора.

– Даже не знаю, подойдут ли мне рисунки, – и как бы смущенно я посмотрела на свои голубоватые ломкие ногти.

– Ой, что ты, ты такая красульчка, такая экзотючка, тебе, по-моему, очень подошли бы бабочки. К глазам.

– Прости, – поднимая взгляд, я заметила острое адамово яблоко на ее шее, – забыла, как тебя зовут.

– Лавиния, – и гигантша присела в полукниксене. Ее кисть полностью покрыла мою. Худая лапка девчонки скрылась в этом мужском и щедром пожатии.

Итак, педаль была нажата правильно.

– Я сделала наращивание с аппликацией, – продолжала она с ужимками показывать свои ручищи.

Тепло начало разливаться по моему телу, но тут, как назло, в задней комнате раздался какой-то скрип и шорох, и она бурно рванулась туда, даже не извинившись. Дальше до меня донеслись три голоса: ее лирический баритон, второй, исходивший от этого сального красавчика – с верхними нотками фальцета, и неожиданный третий, по-мальчишески нежный, в конце фразы надтреснутый, будто чашка ценного фарфора с еле заметным черным штрихом. Голоса становились громче, и я расслышала, что Лавиния и «подросток» говорят по-португальски. «Бразильцы. Понятно». Трансы из Бразилии почему-то здесь имели численный перевес.

Оставшись одна, я покрутилась в тесном зеркальном пространстве, осмотрев себя со всех сторон сперва критическим, а потом, от нечего делать, почти влюбленным взглядом. Голоса, однако, не утихали. Даже наоборот, – реплики Лавинии и смазливца становились все скандаль-

нее. «Сутенер» – так я почему-то про себя прозвала красавчика – говорил по-итальянски, но слова доходили только отрывками, и смысл ускользал.

Может, и к лучшему, что не потратилась на линзы. Пора уже было перестать прихорашиваться. Настало время явиться миру в тщете своей плоти и безыскусности.

Да и к чему эти приукрашивания? Бездомные, сумасшедшие, забытые островитяне, бедняки – вот кто сегодня мог считаться настоящим, они размещались непосредственно внутри бытия, а мы были лишь артефактами нашей тупиковой эпохи инженерных и биологических открытий. Женщины надували себе всевозможные губы и сиськи, делали подтяжку, высасывали жир, становясь в ряды роботообразных бабенок вроде тех, которые выпускались как чело-векообразные сексуальные машины. Пока секс-агрегаты не умели еще быть коварными, как в рассказах Погорельского, Гофмана и Буковского, но уже умели вовремя выделять смазку из силиконовой пизды и заманивать приятным металлическим голоском, похожим на тот, что приходится слышать в автоответчиках бесплатной информации. Понятно, что на фоне такого перфекционизма человеку оставалось блистать лишь своим несовершенством. Дряблостью, целлюлитом, висящими грудями, малой пипкой (ведь готовилась к продаже и кукла Роберто, у которого был предмет трех размеров на выбор, как у трехглавого дракона-извращенца. Он как-то там видоизменялся с помощью поддува. Но все три размера у него были о-го-го).

Были у меня дальние знакомые, которые, как и я, думали в том же направлении, но зашли гораздо дальше. Они объединялись в сообщества разнообразных уродств, с чьей помощью несовершенство получало право на существование. В виртуальном мире они становились народными любимцами, отвечали на вопросы публики и печатали свои интимные фотографии. Течение было сразу же подхвачено и стало эзотерически модным. Но это тоже был хоть и революционный и как бы в отместку, но эксгибиционизм, и потому я пока не решалась к нему примкнуть.

Несмотря на возмущение античных арт-критиков, изображения всевозможных монстров были весьма любимы еще в Древнем Риме. Ими расписывали дома аристократов и императоров, а потом, как всегда, моду подхватил и кто попроще. В пятнадцатом веке их выудили из забвения, и снова химерические непристойные фигурки, которые запестрели на стенах даже папских апартаментов и церквей, стали бесить защитников рациональности. Возможно, декоративно-фантастический мир еще сильнее подчеркивал силу гармонии общественных идеалов, но для кого-то открытое существование подобной эксцентричности означало свободу от догм и фигу в кармане. Обилие монстров по контрасту наращивало силу гармонии и в то же время подчеркивало монструозность регулярности и красоты омертвевшей.

К сожалению, на фоне гротесков я оказывалась совершенно банальным существом и, скорее, даже походила некоторыми местами, хотя, правда, без специальных усилий, на глянце-вый прототип нашей эпохи. Так я была создана по какому-то умыслу, но в назидание мне были даны не внешние, а внутренние отклонения и бесконечные испытания. Видимо, во мне соединился дух всех вольно и невольно абортированных *илемазлов*, и они осаждали меня в виде анекдотической судьбы и кармы.

Лавиния была еще большим преувеличением. Она не просто улучшила, а заново создала свое тело. Вознося, словно хоругви, секс-штампы нашей эпохи, она доводила их до абсурда и все больше превращалась в квинтэссенцию женщины. В природе таких не существовало. Все, что совершала Лавиния, рассказывалось о них в книгах, кино, операх и в анекдотах. Может быть, слитые воедино сотни *фемин* и могли бы составить ее одну. Но в них, даже в самых невзрачных, была пусть даже неосознанная уверенность в том, что они – женщины. Как раз это и недоставало моей новой знакомой. Как я узнала позже, вина в этом, по ее мнению, падала на кусочек кожи, под которой скрывалось сплетение трубочек, в нужный и ненужный момент наполняющихся кровью и безобразно выдающих в Лавинии иное.

Когда я была уже у выхода, в результате без линз и без необходимого мне хотя бы казенного тепла, по ту сторону грохнул деревом то ли отодвинутый стол, то ли шкаф. Выйдя из узкой кишки оптики, чтоб отвлечь их внимание от начинающейся ссоры или даже, как мне представлялось, потасовки, я нажала на звонок и быстро пошла вверх по улице.

Народ, вырвавшийся из офисов, толпился в барах. От него исходило гудение, позвякивание кофейных чашечек, стаканов, ложечек и вся та радость жизни, которая могла безотчетно править в течение часового перерыва, положенного на обед.

Как будто невидимая, я проходила мимо этого праздника со своим, карманным. Вне отведенных часов еды, подъема и сна, постоянной работы, дома, привычек. Так и должно быть, – объясняла я себе, – потому что я есть идущий. Идущий сквозь. Мимо. Через. Наперерез. Вдоль. «Может быть, такой характер сгодился бы для героя какого-нибудь плутовского романа», – льстила я самой себе, но в то же время догадывалась, что мой жанр должен был быть каким-то другим. Каким именно, мне самой пока еще не было ясно.

## Солнце будет всегда

Уже целую вечность я смотрела на них через стены стеклянной глухой комнатки, обустроенной трубками и кранами. Из трубок выходил сладковатый воздух, и он пах солнцем и дождем.

Моя стеклянная коробка размещалась внутри огромной палаты, где они напоказ, но беззвучно играли и дрались, смеялись и ревели. На меня они никогда не смотрели, потому что я была, наверное, для них невидима. Зато сама я могла весь день глазеть на то, как они прыгали на кроватях. Как кувыркались, как ели за низкими столиками. Вставали в очередь за лекарствами. Сидели на горшках, теребя игрушки и письки. Окна у них были высокие, без занавесок, с большими фрамугами, которые распахивали каждый день, навязывая им перед этим на головы сложенные треугольником белые хлопчатобумажные пеленки. Во время проветривания они должны были залезать под одеяла в этих белых платках, пока за окнами шел снег или дождь, птицы садились на лысые деревья и проходила настоящая жизнь. Ночью нянька открывала дверь в мой бокс, чтобы проверить горшок, и было слышно, как гроыхали последние идущие в депо трамваи. Заглядывая в огромные незанавешенные окна с улицы, ходил свет по потолку и стенам. Чудо являлось почти равнодушно, и у него был запах государственного предприятия.

Каждое утро начиналось с укола и спиртовой ватки. Вытащить ее из-под повлажневших трусов, где все еще ноет, спрятать в кулаке, положив его между поджатыми коленками под самым подбородком, и, поднюхивая, сладко полудремаешь, пока не начнут постукивать белые каталки с кашей и с кофе с молоком. Его аромат и позвякивание ложек отмечали порядок жизни. В восемь утра снова входила нянька, ставила белый столик в ноги, взбивала подушки за спиной, усаживала повыше. Проходило еще неизмеримое время, и она возвращалась за посудой. Совсем не хотелось, чтоб она оставалась надолго: при чужих, как утверждала медсестра, Летун *набирал в рот воды*. Красная грива, желтые уши, синие глаза, а вместо крыльев – качалка, соединяющая четыре ноги. Таким был мой верный друг, и верхом на нем я пронеслась мимо кощеев бессмертных, волков, сидящих в зарослях, и хитрых лис, стремящихся сбить нас с пути.

Шло время, и ход вещей раскачивался неизменно, пока однажды после обеда (щи со сметаной, нежное пюре, котлета, наваристый компот) в большую комнату, за которой мы с Летуном, как всегда, наблюдали через стекло, не вошла фея. На ней не было привычного белого халата. В одной руке, через которую была перекинута черная шуба, она держала большой бумажный пакет, в другой – букет розовых гвоздик. Фея оглядывалась по сторонам, наполнилась своей лучезарностью и улыбалась. Останавливалась рядом с детьми и о чем-то с ними беседовала. Снисходительно и лукаво. Слов было, как всегда, не слышно. Так рыбы в аквариуме говорят, а вверх поднимаются пузыри. Фея открывала рот и улыбалась. Потом уселась на стульчик перед столом, а дети выстроились в очередь. Наверное, они встали за поцелуями или подарками. Откуда-то она достала бумагу и начала складывать ее и так и эдак. Потом она подняла руку, и оказалось, что там – белая птица. Птица двигала широкими крыльями и наклоняла голову. Дети стали толкаться, некоторые бежали за бумагой, и фея складывала ее снова и снова. Уже в палате был целый птичник. Птицы щебетали, дети галдели, но я ничего не слышала. Мой бокс был звуконепроницаем. Ах, как и нам хотелось такую птицу! – подумали мы с Летуном, в тот момент, как госпожа поднялась и пересекла по диагонали солнечное пространство.

Уже через несколько минут вместе с шумной вереницей врачей она переступила порог именно нашей комнатки, а дверь все открывалась и открывалась, чтобы впустить еще кого-то. Мы услышали мгновенные гудки и лязг трамваев, щебет птиц и режущие голоса детей.

Птичница была в лиловом платье. Цветы она отдала врачу, а пакет поставила у входа, положив на него шубу. Они долго обсуждали что-то, врач поглядывал в папку, которую всегда носил с собой, и восклицал непонятное. Он притрагивался холодной железкой к моей груди и говорил мне «Дыши», а потом: «Не дыши». Он стучал по мне и слушал легкие, и они отвечали ему эхом. Внутри меня что-то было. Может быть, далекие синие горы или страна за тридевять земель. Наконец он встал, незнакомка подошла близко, и врач сказал: «Ну вот, мы тебя выпишем, твоя мама пришла за тобой».

Я не знала, как себя теперь вести. Мама? Почему именно сейчас? И почему именно за мной?

Птицы могли быть сороками, грачами, щеглами, воробьями, лебедями, утками, гусями, дятлами, сойками, синицами, журавлями. Они могли быть и кукушками. Перепелочка. *Бедная. Бедная перепелочка.* Кукушка, подложившая яйцо к перепелочке. Кукушонок должен убить своих братьев. Может быть, я была кукушонком? Конечно, у кукушонка была мама, но кукушонок ее не мог помнить. Должна ли она была вдруг появиться?

Фея положила пакет на тумбочку, обняла меня и сказала: «Одевайся, вот сейчас мы поедем в далекую страну солнца и моря».

В некоей точке, где сужалось пространство, море встречалось с солнцем, и они становились одним и тем же.

Я уже не помнила, как одеваются, и меня одела нянька, беря вещи из большого пакета. А дама пошла снова мастерить птиц и говорить с детьми в солнечной комнате.

Как всегда, нянька включила радио, и там снова запели песню, которая меня злила. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» – начищенный фальшивой радостью мужской бас, пронзительный мальчишеский голос и хор детворы просил, а значит, сомневался в очевидном. И мама, и небо были всегда, их отсутствие в мире исключалось, солнца не бывало лишь по ночам, но каждый день оно как миленькое возвращалось, а я... Разве не есмь аз то, без чего невозможно и все остальное?

Здесь, в больнице, с умилением я глядела на ползунков и сосунков. Было видно, что они куда-то растут, беспрестанно увеличиваясь из малого. Значит, можно было предположить, что когда-то они были меньше этого самого малого и были невидимы. Неловко было думать, что и я когда-то так же беспомощно кряхтела, отрывая белую кашу и беспрестанно накладывая в штаны, но сестра, которую я, правда, уже давно не видела, говорила, что несколько лет назад мои пальцы были меньше букашки и что она помнит прекрасные времена, когда я еще не возникла.

Что ж, пусть вокруг все росло и увеличивалось, но откуда тогда взялись сами маленькие букашки? Зачем они появлялись и как проходила их жизнь потом? И где я была до того, как уже полноценная сестра могла посмотреть на меня сверху?

Я никак не могла этого вспомнить. Иногда какая-то ясность вдруг озаряла меня, и я созерцала подробности своей догрудничковой жизни, но обычно рутинные дни быстро затягивала все пленкой, и тогда нужны были большие усилия, чтоб в сознание вернулись далекие движущиеся образы.

Но все это касалось прошлого. Будущее же, на мой взгляд, должно было быть точно таким, как настоящее, то есть неизменным. В общем-то в больнице почти все так и происходило. А когда случались какие-то перемены, как, например, исчезновение кого-нибудь из детской палаты, они досаждали мне и портили настроение.

«Пусть всегда будет мама», – настаивал наглый мужчина.

Когда малыши вырастают в нормальных детей, мама у них остается, и даже когда они ходят в школу, мама все равно у них есть. Вот и у меня появилась мама, которая, конечно, была всегда, но просто не могла меня найти. В этой песне подвергалось сомнению само вселенское

устройство, но ее наигранность не могла провести меня. Нельзя сомневаться в том, что мама будет всегда, как всегда будут солнце, небо и Летун.

«Поедем в страну солнца и моря. Собирайся», – сказала я ему. Он был как раз очень рад. Он тоже был солнечным, а глаза были из моря.

Наконец меня вывели в новой одежде, с больно тянущими кожу тугими зелеными бантами, прихватившими две коски-рогалики, и все *они* теперь просто уставились на меня, хотя раньше этого никогда не случалось. Все хотели подойти и стоять рядом со мной. А я прижимала *его* крепко к животу. И женщина птиц сказала: «Теперь мы уезжаем далеко-далеко». Они стали приближаться к ней, некоторые брать за руки, а один мальчик даже карабкаться на нее, и просили взять их с собой.

Мне казалось странным, что она ведет себя с ними таким образом, и если она и правда была моей мамой, как говорил доктор, то почему она была с ними так накоротке? Мальчик с голубыми узкими глазами стал хныкать, и она сказала: «Попрощайся и оставь ему лошадку, он же младше тебя». Я прижала *его* еще тесней, подняв повыше к груди, и молчала, глядя в пол. В общем-то и это было интересно. Пол был из разноцветных каменных квадратов, и над ними летала светящаяся пыль.

«Оставь лошадь, – донесся голос сверху. – Ну не будь же жадиной!»

Жадиной? Я?! Это не лошадь, – хотела я сказать им. Я ненавидела этого мальчика, который в робком и в то же время уверенном ожидании подошел ближе.

«Ну посмотри, как Теме нравится лошадка!»

Я ждала, что мой конь, наконец, скажет что-нибудь или вырвется, но он молчал. Что же, видно, и ему казалось это правильным, или он просто онемел от горя. Но уж точно это был самый неподходящий момент, чтобы *набирать воды в рот*. И где вообще он ее находил? Или, может быть, он захлебнулся слезами?

До того как закрыть за собой дверь, я посмотрела на него еще раз. Он косил на меня, повернувшись вполоборота. А я уже перешагнула через порог светлого зала, который все эти боксовые месяцы мне казался сном и где теперь, ослепнув от света, оставляла друга, но все продолжала, оглядываясь, придерживать тяжелую дверь. Сперва Летун был виден в ее проеме. Потом лишь в узкой щели. Крестовине черной тени на полу, падавшей от рамы окна, и желтым квадратам, отражающим солнечный блеск стекла, до него не хватало лишь нескольких сантиметров. Дверь продолжала закрываться, и дальше отражения окна уже не было видно, а он еще был. Потом от него остались только часть гривы и лицо, а еще чуть позже – только голубой глаз.

Внутри меня вырезался контур Летуна, он угодил прямо в легкие с их синими горами и, словно эхо, долетел до самого нутра.

Зачем мне эта страна, если там не будет *его*? Моя мама нашла меня, но за это мне нужно было расстаться с ним.

«Надо оставлять игрушки, когда уезжаешь из больницы, ведь другие дети остаются!» – сказали мне опять сверху.

Я шла по бесконечным высоким коридорам, спускалась вниз по множеству мраморных ступеней, пока, наконец, не открылась последняя дверь и я не увидела стволы деревьев в саду. Теперь, чтобы посмотреть на их ветви, мне пришлось запрокинуть голову.

Мама держала меня за руку, которая помнила рельеф морды Летуна, но я крепко сжимала его и во втором кулаке, засунутом в варежку. Теперь он навсегда должен был сохраниться на моей ладони.

Я резко вдохнула в себя мартовский, сверлящий холодом воздух, и голова закружилась совсем не так, как от больничного кислорода.

## Ольга

*Так же и здесь узнаю я черные нити судьбы,  
потянувшиеся с рожденья,  
черные нити шерсти овечьей моих неурядиц.*

*Овидий. Трестии*

– И до сих пор помнишь? Ну и кто же ты после этого, как не жадина? – послышался мне голос Оли.

– Да нет же, – попыталась я оправдаться, – просто эта лошадка была проводником любви и жизни для одинокого ребенка.

– Ха-ха, ну и слова, – хмыкнула Оля. – Почему же, если эта деревяшка была проводником, ты не могла ее заменить на нематериальный образ?

– Но ведь мне было только три года.

– О'кей, – и верхний железный жевательный зуб Оли блеснул неодобрительно, – но сейчас-то почему обременяешь нас такими воспоминаниями? Не знала, что ли, что надо делиться? Всем-всем. Тем, что уже есть, и тем, что только намечается. Жизнь – бесконечный обмен, органами своими поделись, пока они у тебя здоровые. Дети в африках от жажды высыхают, от голода на них обвисает кожа, как на изможденных слонах из Ленинградского зоопарка, а ты развела тут нюни о своем потерянном детстве. Ведь сама знаешь, что китайчата, трудясь для тебя на фабриках, вместе с нитками оставляют в одежде кусочки своей ткани, раня себя до крови. Маленькие сомалийцы, засиженные мухами, мрут с голоду, а ты... Правильно мать тебя прижучила, видела твою сучью натуру. И правильно от тебя потом решила отделаться. А если б в любви выросла, что б из тебя вышло? Ты же видишь этих, выросших в любви? Понастроили вокруг башни самовлюбленной пошлости. В советской стране тебя должна была растить советская родина и отечество, а не отец или, еще хуже того, – мать. Эксперимент получился чистым.

Ты права, Ольчик, помню, как уже в полгода я неподвижно лежала раком на кровати с высокой сеткой в одной из больниц, прирастая соплями к ледяной клеенке. Заборы, загородки, боксы, стены. Когда подросла, мать, провожая в очередную больницу, перед дверью, разделяющей нас, как мне казалось, навсегда, увещевала: «Ведь ты не будешь плакать? Обещай! Ты мой оловянный солдатик, да?» – «Ну конечно, милая мамо, оловянный, и расплавлюсь, если надо, для такой балерины, как ты».

– И что, правда не плакала?

– Тайно. Вместе с собакой Патраш выла у мертвого тела бродяжки из любимой книги. Была сентиментальной до маниакальности. Каждую ночь половину неудобной кровати оставляла образу матери. Так и привыкла – на самом краю. В шесть утра, летом – горном, а зимой – окриком медсестры нас вытряхивали из теплых постелей санатория, и сквозь сизый взгляд я видела муки своих палачей, корчившихся в огне, распалюемом моей фантазией.

– Злая ты. Они ж для тебя стрались. Гада из тебя выдавливали, слюня и собственника.

– Да никакой собственности у нас не было, – огрызнулась я и заметила, что «г» она произносит странно мягко, с придыханием. – Зубная щетка с эмалированной кружкой в умывалке, в тумбочке перлюстрируемые письма, ручка, бумага, может быть, какая-то игрушка, расческа, библиотечная книга. Но и это в любой момент могло быть обобществлено. Только мысли могли быть личными.

– Но все-таки грех жалеть себя, это отяжеляет. Скитальчеством тебя спасли от твоего собственничества, – подвела мораль Оленька. Забрела и ты в этот труппный город. Ведь за

красотой приехала? А красота – она во всем, расширяй горизонты. Вот я их так расширила, что мой дружок мою манду с площадью нашего апостола путает.

Мы разговаривали, стоя на рампе, соединявшей два холма над безликим проспектом, названным в честь одного из двухсот шестидесяти четырех официально признанных пап. В нескольких шагах от нас ютилась маленькая железнодорожная станция – шесть перронов, небольшой бар, одна почти всегда закрытая касса, несколько вмонтированных стульев, постоянная выставка, посвященная детям пигмеев и африканским ремеслам, с вмурованным в стену жестяным коробом для пожертвований. Отсюда каждые полчаса с частыми остановками шли поезда в сторону городка Витербо. Позже она мне рассказала, как порой любила забраться в первый попавшийся. Во время дороги подбирала полистать какую-нибудь оставленную газету, смотрела в окно на раздолья *Лацио* и слушала разговоры. Словно дятел засевшего в глубине червяка, она всегда выживала из них что-то полезное. На верхнем этаже обычно ездили те, кто помоложе, и иммигранты. В дневные часы народу там было мало, и контролер туда не добирался.

Как правило, она доезжала до конечной и ждала обратного поезда, – автобусы в пригородах ходили нерегулярно и стоили дорого. Однажды, отправившись с другого перрона, она заснула и оказалась в Пизе, где осталась ночевать прямо у станции, а утром села в обратный поезд, проведя половину пути в туалете из страха перед контролером. «Зато побывала в Пиз(д)е», – говорила она, сочетая куражный вызов и смирение.

Жила Оля на крутом, неприступном, даже зимой густо заросшем и необитаемом холме. Купол самого большого собора отсюда казался снятым крупным планом. Внизу простирался район, который мог считаться одним из лучших в городе. В том смысле, что туристы и паломники подавали здесь хорошо, как нигде, и на работу ей ходить было близко.

Это я узнала от нее самой уже в первый день нашего, казалось бы, случайного знакомства.

– Слезай, сука, пошла отсюда, гадина! – Не так-то и часто в те годы приходилось слышать здесь чистую русскую речь, тем более вдаль от туристических развлечений, чтобы действительно вот так вот сразу согласиться убраться. Женский и почему-то, как мне казалось, знакомый голос из надрывного крика переходил в визг. Пустая бутылка, едва не задев меня, разбилась внизу. – Срань заунывная, а ну упиздыкала отсюда быстро! Пшла, блядина, пшла отсюда!

– Прекратите кидаться, – громко пропищала я в ответ, со скоростью мыши слезая с еле заметной приставленной к холму стремянки как раз тогда, когда вслед за первой бутылкой просвистела другая. – И я не срань вам, я странь, или на худой конец – ссань, да и то для вас в крайнем случае, – все-таки мне не хотелось потерять последнее лицо, но я не успела броситься на амбразуру.

Сперва наступило молчание, а потом голос, откашлявшись, обрел человечность.

– Русская, что ли? Место ищешь? Тут уже живут, занято, понимаешь, мандавошка?

Стоя на нижней планке лестницы и обещая себе больше никогда не соваться в это логово, я увидела, как некое существо в свалывшемся ватнике, с полупустой бутылкой в руке опасливо, но и с какой-то неожиданной для подобной ситуации грацией выходило из зарослей.

Я втянула голову в плечи и, скрючившись, боясь упасть, прикрылась руками, ожидая нового нападения.

– Ладно, прости, – сказала оно примирительно, подошло еще ближе и оказалось женщиной за сорок, – ходит тут кто ни попадя, приходится оборонять жилье, а то повадились. А ты, ладно, как там тебя, заходи, можешь и со мной спать, теплее будет, я ж не знала, что ты тут тоже. На, выпей, бери, половина осталась, я своих не гоню, – и она протянула мне одновременно бутылку и руку, приглашая снова забраться наверх, а потом представилась: «Ольга».

Как и почти все русские, она умела смотреть, не мигая, прямо в глаза и была безупречно щедрой.

На веревке, натянутой между сооруженной из подсобного материала доурбанической лачугой и полуоблетевшим вязом, уютно висело белье. Пол домишки был устлан разномастными столешницами и досками. Устроившись за настоящим столом и на вполне удобном стуле, при огне двух огарков я разглядывала ее.

Несомненно, можно было назвать ее красивой, хотя она и выглядела старше своего возраста, который назвала на то ли рассеянном, то ли тягостном выдохе. Над высокими скулами зябко сквозил какой-то неистовый (а не просто пьяный, как подумалось в первый момент) блеск широко расставленных ледниково-озерных глаз. Пшеничные, прямые длинные волосы поблескивали проседью. Загрубевшая на открытом воздухе светлая кожа, что издавала мне показалась девичьей, вблизи рассыпалась ветхой фреской, проступили морщины на лбу, у глаз, вокруг рта. Худая и легкая. Наверное, занималась танцами. Но высоковата для балерины.

Неожиданно она включила свет. Оказалось, что свеча была просто для душевности, – аккумулятор превосходно снабжал электричеством всю времянку. Ее интерьер определяли деревянные ящики, в которых обычно привозят фрукты-овощи. Поставленные друг на друга, они становились шкафом, подвешенные – полкой. На постаменте из них же лежал матрас, прикрытый одеялом, покрывалом и полиэтиленовой пленкой от возможного дождя. На шатучих стенах были приклеены аккуратно вырезанные из бесплатных путеводителей репродукции картин и фотографии города.

В отдельном мини-отсеке размещалась своеобразная кухня с пластиковым ведром и бутылками, электрической плиткой, чайником и парой сияющих кастрюль. Таких домохозяйственных бомжей я еще не видела и в порыве ученичества фиксировала этот временный, но наверняка стоивший больших трудов уют.

Оля, конечно, была пьяна, но не настолько, чтобы наша светская беседа не подвела к угощению настоящим малиновым вареньем, трехлитровую банку которого ей подарили слушайные знакомые в не так давно отстроенной русской церкви по соседству. Сервировано наше чаепитие было на огромном керамическом осколке с еле видимым лунообразным клеймом. Согласно ему, этот поднос был куском черепицы от дома какого-нибудь третьего века.

Хотя я отхлебывала горячий чай, не сняв пальто, колотун все наглай скользил по мне своими влажными щупальцами. Ветер грохотал фанерными листьями, ломил ветви дубов, и желуди, будто пулеметная дробь, изредка рассыпались по крыше в нескольких сантиметрах от наших голов. Немного послушав клацанье моих зубов, Оля, как ни в чем не бывало подошла к небольшому подиуму из кирпичей, на котором, оказывается, громоздилась настоящая буржуйка.

Хотя труба выходила на улицу, дым мгновенно заползал через щели обратно. Его пелена искажала узоры огня, раздваивая и утраивая их, так что казалось, что он – повсюду. Под дровяной треск, превозмогая кашель и утирая слезы, я ждала, что вот-вот в дверь постучит Мальчик-с-пальчик, и грохнет вслед за ним костяной ногой в фанерную стену баба Яга. Окружавшие нас добротные дома и самый раскрученный в мире храм с его ледяным чревом и кровавыми тайнами, хамовато-циничными служителями порядка и теткой, которая предупреждала с небес на нескольких языках, что в подобном месте нельзя ходить нагишом и орать благим матом, по сравнению с Олиной избушкой казались просто самонадеянной фантазией.

Оля забралась в найденное на помойке синее плюшевое кресло пятидесятых, которое в каком-нибудь антикварном магазине, о чем она вряд ли догадывалась, могло уйти за кругленькую сумму. Уютно она прилеживалась из чашки с проходящей по лицу Папы-поляка трещиной. Под сладкое разговорилась, понятное дело, о жизни и о любви.

Жизнь ее, как и у всех, состояла из препятствий, которые мне, в тот момент ностальгически нежившей между небом и языком цельную ягоду, словно кошка – живую рыбку перед тем как ею хрустнуть, показались не такими уж и ужасными.

Ну да, у нее украли деньги и документы, но с кем не случилось? Документы восстановимы, деньги – наживаемы. Любовь казалась делом прошлым, и о ней почти ничего в тот раз не было сказано.

«Собираю на обратную дорогу», – пожаловалась Ольга. Нос и глаза у нее покраснели, и, выбравшись из кресла, она взяла с кровати задуманного когда-то давным-давно белым медвежонка, чтобы им утереться. Но, видно, она была права насчет того, что жалость к себе утяжеляет. Больше она не проронила ни слова, и я поняла, что мне пора, тем более что в этой фанерной лачуге можно было окочуриться от холода. Дуло изо всех щелей, и, несмотря на печурку, сырость холодной пленкой покрывала любой предмет. Я попросилась, как только на горизонте для меня замаячила попытка спуска штанов над темной природой. Пользоваться пластиковым ведром за занавеской мне казалось пока уж слишком фамиллярным.

Отогреваясь быстрой ходьбой на улице, я подумала, что в своей манере говорить, уставившись не на собеседника, а вдаль, выглядывая там что-то, припоминая и откладывая, может быть, на другой раз, она напоминала сказительницу и что слова «правда» и «ложь» применительно к ней были бы неорганичны.

Купол собора сиял изнутри: гигантский фонтан света, расплескивающийся по миру. Уставленным в ночь глазом циклопа башенный фонарь шарил во тьме. Он нащупывал сырость ближнего парка, скользил по кирпичным границам самой богатой в мире страны с гулькин нос, дотрагивался до безмянных фасадов, натыкался на устроившихся как попало на покой съевшихся тружеников и тунеядцев колоссальной страны Яилати. Один из них, завернувшись в плед, бесформенно застыл, прислонившись головой к превращенному в питьевой фонтанчик саркофагу рядом с дверьми столовой для бедных. Изъеденное морщинами лицо спящего было счастливым. Возможно, уже во сне он предвкушал завтрашний обед.

## Тоска

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть», – пела Надя, идя со мной в ванную по длинному коридору, где порой мы встречали красивого матроса с влажными волосами и вафельным полотенцем на голом плече.

Она пела, когда застилала постель, пела, когда убирала или кипятила воду на маленькой плитке, пела, когда взбивала яичный белок.

«*Виссдельарте, висседамор*», – стонала девушка-*тоска*, которая не хотела больше жить, потому что «*тоскавала*» по любимому, которого коварно убили. Как только тоска об этом узнала, она, как следует разбежавшись, выпрыгнула из замка и разбилась насмерть.

Вместо тоска́ Надя говорила тоска, и мне нравилось это, как все неправильное. Тоска изъяснялась на непонятном языке. Точно как я, когда чувствам не находилось места и только нездешние, ритмичные слова могли их передать.

История *Травиаты* была не менее грустна. Я устраивала влажную теплицу в мягких высоких подушках и раздумывала над тем, что горе Травиаты тоже было в любви. Она поссорилась со своим любимым и больше не хотела гулять с ним по набережной и нюхать глицинию, как мы с Надей. Не улыбалась больше при виде матросов, не плясала твист и не ела жареную кукурузу с солью. Она заразилась от тоски и заболела *чихоткой*: начала чихать и не могла остановиться. Эта *чихотка* изводила ее до того, что она не могла ни есть, ни спать, и только любимый мог бы ее прекратить, но когда, наконец, он все-таки появился, было слишком поздно: она исчихалась до смерти.

В любви таилась гибель, но в то же время в ней было что-то влекущее, иначе почему Надя отдавалась своему пению с таким глубоким чувством?

Мне нравилось следить за Надей, делая вид, что я сплю. Она носила неповторимые платья и древние кофточки из шелка, всегда прикрепляя к вырезу брошку, за которой пряталась заколка с маленькой, размещающейся за пазухой пластмассовой коробочкой.

Каждое утро она доставала из высоких круглых коробок три шляпы, выбирая, какую надеть.

Предметы, деревья и цветы при ней обнажали свою суть, и я зачарованно смотрела на ее бежевые шелковые чулки и легкие туфли на невысоком каблуке, когда она учила меня ходить, ступая с носка на пятку.

Однажды *Джокер* из ее колоды, загадочный гном в красном колпаке, которого она хватилась, оказался у меня под подушкой, и Надя взглянула на меня загадочно.

Когда мы прогуливались по набережной, все взоры устремлялись на Надю, и я, «необыкновенно красивый ребенок» в новом матросском костюмчике, оттеняла ее аристократизм.

Здесь, в Ялте, она восхищала меня еще больше, чем в нашем городе.

Там она жила на одном острове, и по пути к ее дому ветер трепал пешехода со всех сторон. На этом острове всегда стоял особенный свет, так что иногда он складывался в фантастические картины, хотя на первый взгляд казалось, что все там было совершенно обычно и предсказуемо, как и до перехода через мост.

На одной из самых обычных улиц темнела не отличавшаяся от остальных сырая парадная. Разбитые ступени лестницы вели на третий этаж. Открывалась такая же точно, как другие, двойная огромная дверь с десятком кнопок звонков и табличками имен и фамилий, и ты оказывался в сумерках длинного коридора с несколькими тусклыми лампочками без абажуров, по стенам которого росли выключатели и гнездились белые пробки где ни попадя. Теснились шкафы и тумбочки. Под самым потолком висели алюминиевое корыто и двухколесный велосипед «Урал». На другом, трехколесном, в присползших колготках и фланелевой выцветшей кофте туда-сюда разъезжал соседский мальчишка и орал: «Жми на педали!»

Через каждые несколько метров в темной кишке коридора маячила дверь, ведущая в семейный бункер. В конце коридор раздавался вширь и выталкивался в гулкой высокий зал кухни. Там было около десяти плит и стояла жгущая слизистую и глаза гарь от маргарина и подсолнечного масла. Когда в огромном чану кипятили белье, весь дом сладковато и гаденко застилало хозяйственно-мыльным духом. Порой в его парах под деятельными взглядами светло-коричневых тараканов-разведчиков случались показательные потасовки с тасканием друг друга за патлы, визгом, скулежом и подвываниями, пока не приносилась какая-нибудь коллективная жертва и не воцарялся временный мир.

Мужчины в схватках и жертвоприношениях участвовали редко. Их занимала более высокая стратегия. В физкультурных штанах и майках они сидели по своим комнатам. На продавленных диванах, за уже накрытыми столами под шорох газеты и трели радио ожидали они вносящих еду хозяйшек. Рассеянно играли в поддавки с детьми и внуками и поглядывали на холодильник, где, запотевшая, ожидала своего царственного момента бутылка с прозрачной и жаркой жидкостью.

Часто кто-нибудь, облокотившись о стену, говорил в трубку черного подвесного телефона, стряхивая пепел в алюминиевую пепельницу. Голос не помещался в тесное, нарезанное на клетки пространство и был слышен повсюду, даже в моей собственной голове.

Когда-то вся эта квартира принадлежала Надиным родителям, ей и ее брату, а теперь дела шли по-другому. То и дело соседи развлечения ради устраивали друг другу пакости, и чаще всего они доставались именно Наде. Но даже если в ее пироге оказывался таракан, завернутый в бумажку с надписью *жидытаршишвые* или просто сам по себе, она хладнокровно выкидывала его без единого вопля. Когда она смеялась, лиловые колокольчики звенели в солнечном поле. Когда же хохотали ее соседки, жирные жабы выскакивали из их ртов, плюхались на плиточный пол, а там ищи-свищи. Одну я пыталась поймать сачком для ловли бабочек, но она грузно проскакала в туалет и там уже превратилась в обычную крысу.

В туалете, над унитазом, на кафельной стене висел улей деревянных ящичков: у каждого лежали свои куски *Правды*, *Смены* или *Известий* для подтирания. Утром туда всегда была очередь, поэтому, если я оставалась ночевать у Нади, мы вставали ни свет ни заря и пробирались, таясь, по коридору с нашим мылом, полотенцем и зубным порошком.

Кажется, ни бабушкой, ни няней не была мне Надя. Может, подругой, потому что здесь, в Ялте, спала рядом в огромной кровати, гуляла со мной и мне пела.

Мать однажды сказала, что после войны она снимала у Нади угол в ее небольшой комнате. Там и тогда стоял стол, две кровати за ширмами, секретер с книгами и нотами и всякими странными вещицами, вроде фарфоровых статуэток пастуха и пастушки и играющих шкатулок. Однако основным обитателем тех стен был, конечно, рояль. Все остальное на его фоне казалось легковесным и временным, и даже сама Надя могла сойти за фарфоровую фигурку. Однажды ночью я услышала, как она говорила с кем-то. Пастушок прижался к ее щеке. Подержав у губ, она переставила его на черную трехногую громадину, и перед попаданием в облачную зону сна я смотрела, как она беззвучно и нежно, будто это было чье-то лицо или рука, поглаживала белый оскал громадного зверя.

В общежитии рояля не было, но зато не было соседок и очереди в туалет и в ванную, и мы могли вставать, когда нам хочется, а именно, как полагается трудолюбивым детям и их взрослым, не позже восьми утра.

Каждое утро по набережной прохаживались соломенные шляпы и матросские костюмчики, сменившие апрельские кримпленовые пальто и плащи болонья. Из рупора звучали соблазнительные песни. Играли танго, румбу и твист. Женщины в светлых платьях с затянутой талией, в пышных юбках-татьянках или юбках-колоколах до колен, с высокими взбитыми в коконы волосами, поправляли круглые солнечные очки и через несколько шагов чуть оглядывались на проходящих.

На площадке в конце набережной все приседали и нанизывались штопором, шуровали локтями изо всех сил, вертелись, пока море и небо не начинали свистеть раскручиваемым бирюзовым обручем. *Летс твист эгэйн, твист эгэйн, айм гона синг май сонг. Ча-ча-ча-ча твист!* «Идем-ка, Чабби Чекер», – отыскивала меня Надя среди одержимых.

Продавали лимонад и газировку прямо на улице. Дымный запах от припеченных початков кукурузы поднимался к балконам. Теперь оттуда на нас смотрели полураздетые люди. Улыбки были беззастенчивы, солнце грело все жарче. Цветы, птицы и деревья приручали.

«Надечка, спой мне Розину», – попросила я как-то утром, вылезши разнеженной гусеницей из туннеля огромного одеяла.

Она уже проснулась и сидела ко мне полубоком, надевая белый лифчик. Черное родимое пятно на ее правой белоснежной груди напомнило мне о тайной черноте синего моря.

«*Унавоче покофа*» была моя любимая утренняя песня, и Розина была гораздо лучше Травиаты и Тоски.

«Спой, пожалуйста», – повторила я тихо.

Но Надя не отзывалась. Она застегнула лифчик и стала надевать шелковую рубашку.

«Надя, ты слышишь меня?»

Даже не оглянувшись, она продолжала одеваться, и я быстро заползла в нору из подушек и одеяла, пытаюсь вспомнить, в чем же я провинилась. Когда я оттуда, наконец, выбралась за глотком свежего воздуха, она стояла надо мной как ни в чем не бывало, улыбалась и уговаривала поскорей проснуться.

Часто мне снился один и тот же сон. С детьми на северном море, в тяжелый из-за нависшего серого неба, но теплый день мы строим город из песка и бегаем в сосновую рощицу набрать иголок и шишек, напарываясь на осколки стекла и кусочки железа. Один из появившихся из лощины взрослых приказывает нам построиться в затылок лицом к нему, достает пистолет и прицеливается в первого. Очередь перестраивается несколько раз. Каждый раз ребенок, стоящий впереди, уходит назад. Я тоже не хочу быть первой и встаю сзади. Но я самая высокая, и второй взрослый выводит меня вперед. Раздается выстрел, пуля пролетает насквозь.

В ту ночь я опять проснулась от собственного вопля.

Надя в ночной рубашке раскладывала пасьянс. Ее седые волосы струились вниз пружинной проволокой, поблескивали под светляком лампочки.

– Мне очень страшно, – вырвался из моего нутра хриплый шепот, но Надя и не пошевелилась.

– Надя, приди ко мне, пожалуйста, – попросила я чуть громче, но она даже не подняла голову от карт, с которых ей зловеще улыбались какие-то древние дамы и кавалеры.

– Надя, Надя! – заорала я во всю мочь, села на кровати и увидела свою огромную тень на стене. Только тогда она встала и подошла.

– Тебе что-то приснилось? Не бойся, детка, спи, спи.

– Меня убили, – выдохнула я и упала на спину поперек кровати.

Она улыбнулась и тихо запела мне «баю-бай», сперва про серенького волчка, который должен был прийти и укусить меня за бок, а потом про то, как спит Садко и как девица ходит по бережку. Это такая нежная была песня, что я заплакала. Я не понимала, почему Надя порой так меняется и не хочет меня замечать, но в тот момент я любила ее еще больше.

## Подвалы

*И может только я один еще знаю что он жил  
Унгаретти. В память Локвиц 30 сентября 1910*

Минуя здания, первые этажи которых были сплошь заняты витринами, мимо низких деревьев, позолоченных клементинами, оставив подозрительную оптику за спиной, я бодро вышла к площади *Общего дела*. Она была ладно охвачена полуобручем здания конца девятнадцатого века, появившегося на месте исчезнувшей экседры начала четвертого. В ту давнюю пору в портиках и перед ними проходили театральные представления для посетителей гигантского комплекса бань.

Через это неуютное пространство, где так хаотично были расставлены постройки с разницей в пятнадцать веков, я ходила в сицилийскую кондитерскую. Заглотить мини *канноло*, поглядеть на разноцветные марципаны, попугайничающие в витрине в виде всевозможных фруктов, или послушать болтовню у барной стойки, наслаждаясь колкими выпадами тамошнего пожилого бармена. Откусывалась хрустящая сладость, смаковалась *рикотта*, падали крошки, и жизнь продвигалась вперед. Кофе, кстати, там готовили скверно, официанты и продавцы выглядели измученными, а деньги драли преувеличенно.

Дальше размещался бар, в котором кофе был лучше и дешевле, но по незнанию тебе могли предложить шлюший куш или спросить беленького. Попадались там бывшие наши девочки, липкие местные и отражающиеся друг у друга в темных очках, похожие на боровов молодчики-балканцы с короткими славянскими носами и с оттопыренным карманом куртки, в котором как будто бы просто так лежала правая рука.

Именно там я узнала, что человека с вопрошающим, тяжелым взглядом светлых, глубоко ввинченных глаз-ледышек, которого я, кажется, уже где-то мельком видела, звали Флорин. Приятно окунувшись в это имя, напомнившее мне букетик незабудок или клумбу с анютиными глазками, я рассеянно слушала его небыструю речь с легким акцентом и перед пустотой кофейной чашки представляла, как тысячу семьсот лет назад на этом месте люди нежились в горячей воде и целовались в пару. Ну и визг же и крик стоял тогда в банях! «Держи вора!» «Брею, брею подмышки!» «Кому потереть спинку?» В то же самое время в каком-нибудь удаленном углу портиков мальчишки слушали учителя и записывали его слова на покрытых темным воском деревянных дощечках. Кто-то, впрочем, как и я, считал ворон.

Мы были примерно одного возраста, и, хотя слово *Трансильвания* напомнило мне смутно о заколдованных замках и насильственных донорах крови, он показался мне сразу выросшим дружком из моего детства. К тому же он так по-человечески пах потом и чесноком, что я уверилась, что передо мной точно не *стригой*<sup>7</sup>. Наверное, и он ждал от меня чего-то вроде танца вприсядку с матрешкой под мышкой, потому что сразу предложил вместе выпить.

– Тебя это, наверное, изумит, но по статистике русские по потреблению алкоголя идут вслед за финнами, австралийцами и чехами. – Вот как виртуозно я смогла отстоять национальное достоинство, благодаря карманному справочнику *Мир в цифрах*, который время от времени пролистывала в минуту ожидания поезда метро. – Румыния, между прочим, там тоже в начале второй или даже в конце первой десятки. – Так-то тебе, Дракула!

И все-таки для бодрости, которой так не хватало ввиду отступающего тепла, наплевав на статистику, я заказала себе еще один, но уже *откорректированный* чем надо кофе.

Позже я поняла, что и мой приятель мечтал о том, чтобы тот мир, в котором ему довелось родиться и где мелькали кривые отражения утопии, поскорей разбился. Теперь его больше не

<sup>7</sup> Стригой (*рум. strigoi*) – упырь, оборотень.

существовало, и мы оба оказались в нелепом положении людей вне топографии и времени, с сомнительным прошлым, но с тоской по списанным родинам, в чье далекое существование все трудней становилось верить и которых, согласно экономическим теориям, вообще, кажется, не должно было бы быть никогда.

– За встречу! – улыбнулся он нежно и поднял рюмку с коричневой жидкостью, пахшей чем-то аптечным.

– *Фернет Бранка* – превыше всего<sup>8</sup>, – ответил за меня бармен.

Невысокий, со скуластым лицом, которое постоянно исходило волнами чувств, мой новый знакомый упрямо морщил лоб и планомерно вскипал от эмоций. Дойдя до какой-то неведомой риски таймера, он остывал, будто от брошенного в кипяток льда, чтоб забурлить через короткое время вновь.

Взбудораженные знакомством, мы вышли на шумную площадь.

Нужно было родиться или по крайней мере основательно сделаться римцем, чтобы научиться переходить ее как ни в чем не бывало. Так, будто ты и не думаешь, что резко поворачивающие машины мчатся прямо на тебя. Даже спустя годы я все еще робко застревала где-то на середине пути, вместо того чтобы быстренько, но с достоинством, как живучий грызун, которыми кишел этот город, шмыгать меж мотоциклами. Зато за растянутое моей трусостью время перехода я успевала мысленно подсмотреть за гладкокожими после бритья и депиляции (или, как теперь говорили, *ваксинга*) юношами, когда-то плескавшимися на этом месте в мраморных ваннах или играющими в *trigon*: трое соблазнительных игроков под ведущийся наблюдателями счет бросали друг другу, обманывая взаимные ожидания, расшитый яркими ленточками жесткий маленький мяч, набитый тканью и обрезками кожи. В следующем отсеке надушенные благовониями матроны снимали с голов огромные, в рост карлика, парики на медных каркасах, пока другие уже совершали омоновения в сотнях мраморных ванн под гул и плеск, умноженный высотой потолков. Из-за толстых стен еле слышно звучали трубы, предвещающие представления гимнастов перед термами.

На этот раз быстро, без помех достигнув центра площади, мы присели на бордюр фонтана, и на случайную точку нашего временного пересечения стал наматываться клубок прошлого вместе со всем тем, что называют «отношениями».

Когда-то очень давно Флорин собирался стать учителем истории и даже написал статью о войнах Траяна, теперь же, хоть он уже давно ничего не писал, главным его увлечением сделалась тема варварских завоеваний и падения Рима. Было очевидно, что он оказался здесь не по культурному обмену, не как благополучный стипендиат какой-нибудь академии, а скорее всего по банальным для нашего поколения драматическим стечениям обстоятельств и потому обустроил свою жизнь на территории разрушения цивилизаций. С легкостью фокусника и быстротой репортера он пересекал тысячелетия, отщелкивая на ходу нефокусированные кадры древности, которые, словно папиросная бумага, накладывались на настоящее.

А в настоящем бронзовые птицы, звери и голые люди фонтана точно так же, как всегда, подвергались обливаниям, как будто не чувствуя с каждым днем набиравшего силу холода. Мы смотрели на руины терм и вспоминали о сыне писца-вольноотпущенника, о балканском парне Диокле, которому их посвятили по случаю его единственного визита в Рим как раз перед его отречением от августовской власти.

– Рим, тот потрясающий город третьего века, его разочаровал, и больше он в него ни разу не вернулся, – изумлялся Флорин. – А что он ожидал увидеть? Кстати, скорее всего это именно он, а не тот, на которого потом свалили вину, убил юного поэта-императора Нумериана. Он

---

<sup>8</sup> Фраза из рекламы, для которой в 60–70-х годах XX века «Фернет Бранка» – тридцатиградусная настойка из трав, собранных на четырех континентах, созданная в 1845 году Бернардино Бранкой и Марией Скалой в Милане для борьбы с эпидемией холеры, служила постоянным сюжетом.

прятал его, якобы все еще хворого, в повозке до тех пор, пока смердение не вышло наружу, – при воспоминании об ужасном запахе Флорин с ребячливым видом морщил короткий нос над каштановыми усами, сливающимися с не особенно ухоженной бородой в редких блестящих нитях седины.

Логика детектива заставляла нас увериться, что Диокл убил и подозреваемого в убийстве, не дав тому времени оправдаться. Его восхождение было стремительным. Сын бывшего раба неожиданно для себя стал властителем примерно ста двадцати миллионов человек, увесистой части земного шара и тысячелетней культуры, которую он вряд ли понимал. Пока половина народа коленопреклоненно славословила наряженного в золото и шелк правителя-солдата за наведенный в стране порядок, другая гнила в тюрьмах и братских могилах. С поощрения администрации на дрожжах страха росла армия стукачей, помогающих господину и богу Диоклу-Диоклетиану спасти исчезающий мир от варваров. Однако его внезапное отречение от престола сразу же по-новому осветило всю его напыщенную фигуру, превратив из властителя чуть ли не в мудреца и отшельника.

Мой новый приятель тоже казался мне загадочным. Как в доме с плохо пригнанными рамами, по нему гулял сквозняк несоответствий. Например, движения, замедленные и бережные, полные какого-то древнего, крестьянского достоинства, совершались как будто бы одним человеком, а говорение, пусть на чужом языке, но все же почти изысканное, – другим. Словно дубленую шкуру быка пустили не на кобуру, ремни и седла, а на женские перчатки. В его жестах проскальзывало удалство, но каким-то образом оно совмещалось с размеренностью и осторожностью. За силой сквозил надлом, а его экспрессивная мимика и чувственный рот должны были бы принадлежать другому лицу, если этому принадлежал неподвижный и порой леденящий взгляд.

Взмахом сильной руки, которую скульптурно облегал белый бязевый рукав с темной подталиной на подмышке, он описал синусоиду по линии кирпичных стен:

– Балканцы более всего пригодны для войны. Это поняли уже давным-давно. А в третьем и четвертом веках простой солдат мог стать главой Рима, понимай – мира. – Взглядом я успела потрогать мозоли на его ладонях.

Руины бань за фонтаном вовсе не походили на фасад церкви шестнадцатого века, за которые их выдавали. Возможно, американцев в шортах с бутербродами и колой или бродяг с мешками, сидевших вокруг, не интересовало, что это – бывшая абсида разрушенного *кальдарума*<sup>9</sup> эпохи заката Империи, но они служили своеобразным мерилom времени и пропорций. И хотя я ничего не знала о нем, Флорин мне тоже стал казаться мерилom или даже знаком нашего времени.

– То, что чужак когда-то управлял Римской империей, было нормальным делом. В том Риме иностранец не был таким изгоем, как в Риме сегодняшнем. А я вот вряд ли смогу сделаться мэром Рима.

– Да уж, а рабы? Они ведь всегда оставались чужаками.

Первый день в школе после долгой болезни. Свитер, в котором разрешили сидеть, пах (или вонял?) вчерашними банками. Натянула его на голую леопардовой раскраски спину сразу после. Очень красивый, модный, индийский, в сине-красную клетку, с молнией на груди. Подарок отца. Нет, он не покупал, на его деньги. Все равно. Проходили рабство в античном мире.

Слова учительницы истории уже давно затерялись в прошлом, но сейчас вдруг выплыли, прилетели из космоса, и прямо на них записывался голос Флорина:

– Рабы не обязательно были иностранцами. Сплачивала территория, а не какая-то абстрактная на то время идея национальности. Экспансия требует минимальной политкорректности. Иногда она может походить на мультикультурализм. Не иностранцам самим по себе, а

---

<sup>9</sup> Кальдарум – отделение горячих бань в комплексе древнеримских терм.

тем, у кого не было гражданства, приходилось туго. Так что свободные иностранцы в надежде на его получение порой сами продавались в рабство.

Он говорил так, будто поверял мне самые сокровенные чувства, а не размахивал флажками собственной эрудиции. Так дети показывают закопанный секретик. Мы смотрели друг другу в глаза. В его, согревшихся сейчас до серо-зеленых, стояли стволы деревьев, передвигались фигуры, летели щепки, пахло смолой. Но пробегала тень, светлый слой цвета подергивался клубящейся дымкой. Там, в строительной пыли, среди недостроенных стен, он сидел на земле, держась за сперва вцепившуюся в него, а потом еле сжимающую руку.

«Лучше бы это был я, – говорил его взгляд, и, сгущаясь, серый туман застилал радужку, бледнил зрачок. – Как я мог это пережить?»

Напрягаясь, я тщетно пробовала считать обрывки странных образов и вернуть его в более мне понятное сегодня:

– Овощные магазины скуплены бангладешцами и египтянами, *Чайна таун* пожирает новые кварталы, подбираясь все ближе к сердцу города, хотя вообще-то толком никто не знает, где именно оно располагается и есть ли оно вообще. В современном Риме не меньший мультикультурализм, чем в античном.

Флорин пренебрежительно собирал кожу на лбу. Широкие брови поднимались двумя тимпанами. – Он и сам был рабом и знает, что в древнем рабовладельческом обществе рабы обходились чуть ли не дороже, чем сейчас. То, что я вижу, – просто верхушка айсберга.

Он окунал руку в фонтан, и она раздувалась, как надувная игрушка. Так и его прошлое: чем глубже он пытался погрузить его внутрь самого себя, тем непомерней оно казалось.

Он почти ничего не знал о том пареньке. Амастан еще не успел как следует заговорить на местном, и Флорин скорей угадывал, чем понимал на своем итало-румынском его итало-французский марокканской прививки. За три рабочих месяца без выходных они создали свой гибридный диалект. Курили, шутили, иногда объяснялись жестами, хотя и без слов было понятно, что мальчишка раньше ничего не строил. Он загадочно улыбался, когда Флорин объяснял ему, как делать проем двери и чуть ли не зачем нужен фундамент. Смотрел внимательно, но казалось, что в траншеи и бугорки его извилин раствор знаний по строительной технике никак не заливается. Он утекал в какое-то неуловимое пространство, и на поверхности оставались лишь черные блестящие глаза, нефтяные скважины, отражающие и не впускающие мир в себя. Вежливо следуя за движениями Флорина, он в то же время был прикован к чему-то другому, что казалось несоизмеримо большим и значительным. Поработав с час, он садился у порога, доставал табак, неспешно сооружал самокрутку и, забывая затягиваться, смотрел вдаль, зрачками пробуравливая тесный пейзаж с затесавшимися в него постройками и выжженной растительностью. «Ему бы в бурнуса с какого-нибудь бархана на верблюде следить за переливами красных оттенков заката. У костра под лютью рассказывать легенды и поверья предков», – чуть раздраженно наблюдал за марокканцем Флорин и иногда на пять минут присаживался рядом. Он не собирался вмешиваться. Изобразить из себя прораба среди рабов – какая чушь, наверняка мыслями – он еще на другом континенте, а там все замедленно, – объяснял себе он, но черт возьми, и это не могло быть незамеченным: парень был до боли красив. Красив той красотой, которая так привлекает северных людей: солнечной, гибкой, спонтанной, может быть, даже коварной, безудержной. Когда *капрал*<sup>10</sup> привел Амастана, Флорин дольше, чем это было нужно, задержался на его выпуклых глазах. Словно шмель, его наблевший взор застрял в густых стрелчатых ресницах африканского пацана, и он это запомнил. Всякий раз, когда он с удивлением восстанавливал в памяти эту секунду, чувство неловкости

---

<sup>10</sup> Капрал (Capogale) (*ит. жарг.*) – нелегальный работодатель, связующее звено между ищущим работу нелегальным иммигрантом и предпринимателем.

и досады забрасывали удивление куда подальше. «Еще этого не хватало, – отмахивался он, – видно, совсем я здесь заржавел».

С первых минут он принял тон более опытного, пожившего, и хоть возраст для эмигранта имеет другие отсчеты, он и правда был старше почти вдвое. Амастан же, когда оказалось, что Флорин слышал что-то о берберах, почувствовал, что теперь он чуть менее одинок в этом островном городе.

Город прижимался к вулкану и, расправляя позвоночник широких улиц, любовно вписывал его в свою перспективу.

Главная площадь трепыхалась, подпрыгивала от воздушных шаров, героев и чудищ на веревочках, ударяющихся друг об друга в ожидании маленьких покупателей, играла музыка, прохаживались группками и поодиночке, сновали на великах загорелые люди. Пожалуй, оба они чувствовали себя здесь почти как дома. Вот и слон согласно кивал своей добродушной мордой из лавы, когда они уплетали золотистые *аранчини*<sup>11</sup> из *Престипино*, обжирались мороженым, задирая головы, разглядывали щекастых монстров и выражения лиц амуров, что поддерживали балконы с коваными балюстрадами, а один раз даже проехали в маленьком электрическом турпоезде в компании седовласых туристов.

По вечерам сползали в яму. Там, на семиметровой глубине, жарили еду на гриле под слабым светом, доходящим до жаровень из дверей, дыр и проемов жилищ. В склизкой глине за высоким забором из листового железа на пятистах квадратных метрах лепились самодельные бараки бидонвиля. Когда-то этот вырытый в двух шагах от центра котлован мэрия приготовила для фундаментов многоэтажек. Деньги на постройку были почти сразу растрочены, и здесь возникла неофициальная жизнь.

Лачуга Флорина больше остальных походила на дом. Переселившись в него из своей полной бездомности, Амастан не переставал дивиться перемене участи. Он клал подушки от ярко-розового дивана на настил из досок и под утро смотрел розовые сны. В них ямный город превращался в освещенный восходом *ксар*. Пока он видел *ксары* только на картинках, но в мечтах уже не раз оказался вместе с Ркией в оазисах Сахары. Флорин стелил себе на диване. Снов он не помнил, и только от одного проснулся посередине короткой ночи.

Был теплый день, и среди травы, деревьев, лестниц виднелись одноэтажные странные конструкции. Его аккуратный белый домик был со всех сторон обнесен застекленной верандой, а сам он отдыхал на разложенной подстилке под теплым весенним светом, когда еще издалека увидел в траве рыжего, отвратительного морского котика. Он полз неуклюже, но невероятно быстро, и Флорин вскочил закрыть двери: было очевидно, что существо явно нацелилось на его домик. Он успел захлопнуть только две пары дверей, когда котик уже подполз к третьим, с другой стороны, которую Флорин не мог видеть. Теперь надо было срочно отделить от чудовища часть здания хотя бы изнутри, и он заскочил в первую комнату. Вдруг вся она вместе с просторной верандой наполнилась множеством белых лебедей, гусей, уток. Они галдели, поднимали крылья, натыкались друг на друга, и Флорин понял, что и они тоже спасаются от морского котика. К счастью, в этот момент сон прервался. Ему хотелось в туалет. Их, конечно, в городке не было. Тут уж каждый справлялся, как мог. Были негласные зоны, и как-то сами по себе они разделились на «М» и «Ж», так что в хорошую погоду можно было за думкой и расслабиться, кто умел это делать на корточках. Зато при церкви была душевая. Приходилось иногда подолгу ждать, но можно было хотя бы выговориться.

По вечерам ошивались на паперти в надежде быть арендованными.

<sup>11</sup> Аранчино (*L'arancino – ит.*) – блюдо сицилийской кухни. Жареные конусы из риса с различными добавками.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.